

Р.И.Пименов

ФРАГМЕНТЫ МЕМУАРОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Зачем люди пишут мемуары? Ответить я не умею, равно как и на вопрос, зачем люди живут. Но я живу, пишу мемуары. Предоставляя утонченным знатокам логики указывать и называть логическую ошибку в этом жонглировании словами, сообщаю, что реально не рассчитываю ни на одного читателя. Лестная надежда, что, дескать, "взлетит не потонет строфа, слагаемая мною", — не движет мною. Потонет, как уже многое потонуло. А коли и выплывет, то ведь кто её ПРОЧИТАЕТ, т.е. осмыслит в соответствии с намерениями автора? Уже на протяжении моей жизни произошел чудовищный обвал культуры, знаний, даже навыков чтения. сменился на . Неграмотные получили все права грамотных. И последствия растут лавиной. Так что не читайте меня, мои современники и потомки. Разве только если вы потрудились настолько, что, живя в России, умеете равно легко читать русский и французский текст "Войны и мира" и чувствуете, почему именно тут Толстой пишет " ", а страницей далее — "мо". Такой читатель, с которым можно было бы вести диалог, нужен мне как воздух. Но нет его у меня, и время не сулит его появления.

Главным образом пишу я, чтобы разобраться самому в том, как и почему я сыграл в жизни именно ту роль, какую сыграл. Весь интерес не в том, ЧТО именно я делал и думал, но в том, как моё по внешности исключительно самобытное и активное поведение, оказывается, лишь выражало и отражало всеобщие настроения и закономерности, генетические, семейные, воспитательские, микроокружения, политической атмосферы, "мыслей, носившихся в воздухе". Если есть Ноосфера, то вот на примере молекулы, зовомой Револьтом Ивановичем Пименовым, просмотреть и увидеть, как силовое поле Ноосферы сливалось в резонанс с индивидуальными побуждениями и волнующими открытиями

этой молекулы, — разве это не интересно? Таким образом, мои мемуары — это разновидность научного исследования.

По одним сведениям, человек был вылеплен из грязи, в которую Бог вдохнул свое дыхание. По другим, человек возник из обезьяны, научившейся стыдиться. Но все серьезные люди признают, что человек не сводится к своему духу, интеллекту, к своему Высокому и Вечному. В человеке не меньше половины — дерьма и животных страстей. Христианство учит, как ПРЕОДОЛЕВАТЬ эту животную половину, устремляясь душой к небесному. Материализм ДЕДУЦИРУЕТ самые духовные устремления из естественной необходимости и эволюционных закономерностей. Теософия учит обнаруживать, как исполнение животных страстей — "жизнь астрального тела" — энигматически и ясновидчески НЕОБХОДИМА для расширения морального пространства, в котором растут дух и саморазвитие Человека. Есть много базисных воззрений на соотношенность Добра и Зла. Я, скорее всего, гностик: я вижу и знаю, что мир иррационален, алогичен, хаотичен и покорен только одному закону — закону случайности и бессмысленности. Добро из него не вытекает, Добро им не управляет, не воздаст Верховное Добро за праведность и разумность никому и ничему. Разума в мире нет. Но я знаю также, что Разум, Логос, ЕСТЬ и во мне и в еще чьих-то душах. И знаю, что мы обязаны нести этот факел света сквозь тьму и ветры и завывания хищных зверей. Мы отнюдь не идеальные и не чистые носители света. Но мы должны. И как бы ни были мы замараны в дерьме, и какие бы плотоядные звери не жили внутри нас самих, мы должны не выпускать факела из своей руки. И только там, где мы осветим мрак бессмысленного бытия — будет Разум и Смысл и победа Добра.

И пусть мне повезет — пусть кто-нибудь зажжет свой факел о мой, до того, как мой угаснет.

О строительстве коммунизма в конце сороковых годов.

В Ленинграде я впервые заинтересовался политикой, а мое противостояние обрело политическую форму. Тому была масса причин, одна из которых констатированное Я.С.Фельдманом чрезмерно-повышенное чувство (осязание) справедливости. Другая — беседа летом 1947 с тетей Щурой, сестрой покойного чекиста дяди Андрея, которая люто ненавидела все существующие порядки и охотно поносила их при мне, ибо при тете Жене высказываться побаивалась, дети той были еще малы. Позже, когда дети подросли, Жена спровадила тетю Щуру назад в ее Минусинск, дабы вредно не влияла. Но эти и подобные причины — не главное, как я понимаю. В силу уже отмеченного моего "инстинкта противостоять" нападки тети Щуры на советскую власть должны были скорее побудить меня советскую власть ЗАЩИЩАТЬ, что и случилось в семидесятые годы во время моих споров с некоторыми диссидентами-предэмигрантами. Главная же причина в том, что в Ленинграде, в двух школьных коллективах — и даже, главным образом, в школе № 155 — я наткнулся на высокосознательный по тем меркам коллектив, который горячо верил тогдашней идеологической пропаганде и стремился в ней разобраться, понять, постичь, усвоить, приобрести к этой вере каждого.

Основные же положения тогдашней пропаганды были столь противоречивыми, столь далекими от действительности, что нисколько не выносили гласного — хотя бы на уровне только устной — своего обсуждения, превращаясь в свою противоположность. Дабы не быть голословным, процитирую Отчетный доклад ЦК КПСС на XX съезде:

" Есть у нас такие работники, которые поняли тезис о постепенном переходе от социализма к коммунизму, как призыв к непосредственному осуществлению на данном этапе Принципов коммунистического общества. Некоторые горячие головы решили, что строительство социализма уже полностью завершено, и начали составлять детальное расписание перехода к коммунизму. /.../ Надо понять, что теоретические промахи, утопические иллюзии мешают работникам правильно ориентироваться в практических задачах, вносят фальшивые ноты в идеологическую работу." (т. I, стр. II5-II6).

Так вот, 1947-48 годы были годами, когда именно эти "горячие головы" и "утопические иллюзии" задавали тон в пропаганде. А моя биография - это как раз тот ущерб, который они причинили. /.../.

И пропаганда вокруг твердила, что наша страна гигантскими шагами идет по пути к Коммунизму. Это не только вещало радио, это не только писали газеты. Это было общим местом наших школьных разговоров - вот тут отличие ленинградских школ от ростовской и московской, где такие темы в мою бытность там не обсуждались, - и присутствовало чуть ли не в каждом уроке литературы, истории, даже естествознания, где неуловимым факирским движением цитат Мичурин превращался в Джордано Бруно, ~~инициатор~~ строящего коммунизм под водительством Сталина. Мы знали, что мы - поколение строителей коммунизма, мы - молодые строители коммунизма, причем не какого-то отдаленного, но "зримого будущего", уже поднимающегося на наших глазах и нашими руками долженствующего быть создану. Пролистаем газеты тех лет. Вот, "Правда" за 1947. В номере от 6 марта:

"Под руководством партии Ленина-Сталина женщины /.../ныне, вместе со своими отцами, мужьями, братьями и сыновьями, успешно борются за построение коммунизма в нашей стране."

В номере от 12 марта:

"Под знаменем партии большевиков, под водительством великого Сталина - вперед, к новым победам коммунизма! /.../ Народы СССР, под водительством великого Сталина, вооруженные всепобеждающими идеями ленинизма, уверенно идут вперед, по пути к коммунизму."

В номере от 28 апреля:

"...товарищ Сталин указывал, что газета должна быть "надежным маяком, освещающим трудящимся массам ... /отточие в газете/ путь к полному торжеству коммунизма"."

27 мая опубликован Указ ^{х)}, выглядевший реальной вехой на

х) Стараюсь соблюдать орфографию того времени. В Указе слово "родина" напечатано с маленькой буквы, а "Правительство" - с большой. В газете от 20 июля - "Родина" с большой. "Объективные" в газете от 4 июня напечатано через апостроф, а не через "ь".

пути к светлому будущему:

"Историческая победа советского народа над врагом показала не только возросшую мощь советского государства, но и прежде всего исключительную преданность Советской родине и Советскому Правительству всего населения Советского Союза.

Вместе с тем международная обстановка за истекший период времени после капитуляции Германии и Японии показывает, что дело мира можно считать обеспеченным на длительное время, несмотря на попытки агрессивных элементов спровоцировать войну...

Президиум Верховного Совета СССР постановляет: Отменить в мирное время смертную казнь. /.../".

В номере от 4 июня:

"Кинороботники взяли из гущи жизни замечательные об"ективные факты, говорящие о неуклонном движении деревни по новому пути, свидетельствующие о могучих всходах коммунистического посева в деревне."

В номере от 8 июля:

"Слава великому советскому народу, идущему в коммунизм!"

В номере от 14 июля:

"...несокрушимая сила советского государства, уверенно идущего вперед, к коммунизму!:"

В номере от 19 июля:

"Среди многих рычагов коммунистического воспитания трудящихся /.../ почетное место принадлежит рабочим клубам".

В номере от 20 июля:

"Советская физическая культура и спорт призваны воспитывать разносторонне развитых, преданных советской Родине строителей коммунистического общества."

В номере от 31 июля:

"Воодушевлять массы на борьбу за выполнение великой программы строительства коммунизма в нашей стране. /.../ оно создает почву для уничтожения

противоположности между городом и деревней."

В номере от 5 сентября:

"Растут наши советские люди, идущие к светлым вершинам коммунизма /.../ Москва — знамя борьбы за построение коммунизма в нашей стране."

На следующий день — стихами:

"Сталин ленинской дорогой к коммунизму нас ведет,
Имена вождей великих воедино слил народ."

В номере от 28 сентября:

"... одно из зерен того постепенного стирания грани между трудом умственным и трудом физическим, которым характеризуется продвижение советской страны к коммунизму /.../ залог дальнейших побед на пути строительства коммунизма."

В номере от 29 сентября:

"Под мудрым водительством своего любимого вождя и учителя товарища Сталина к полной победе коммунизма."

В номере от 22 октября:

"В руководстве большевистской партии видит советский народ залог своих дальнейших побед на пути строительства коммунизма. Уверенно, шаг за шагом, идет он по этому пути. /.../ Великий Сталин — любимый и мудрый учитель и вождь — вдохновляет его на новые и новые подвиги социалистического труда, ведет от победы к победе, к полному торжеству коммунизма в нашей стране. /.../ благоприятных условий для осуществления строительства коммунистического общества."

В номере от 23 октября:

"Нашей социалистической державы, неуклонно идущей по пути к коммунизму".

В номере от 10 ноября:

"Советские люди с новыми силами продолжают строительство коммунизма."

Это — газета "Правда" за 1947 год. А ведь у меня под руками не полный, а весьма урывочный комплект газеты. И, обратите внимание, я не цитировал дежурные призывы перед демонстра-

циями, а только "бытовое содержание" газеты. Полистаем ещё другие газеты. "Литературная газета".

4 февраля 1948 года:

"Утверждение образа советского человека, освобожденного от своекорыстия, эгоизма, от пережитков буржуазного мировоззрения, — вот задача писателя в великую эпоху, когда на нашей земле воздвигается здание коммунизма. Показать образ человека, который достоин будет по праву войти в это грандиозное здание, как творец его и хозяин — вот тот долг, выполнения которого ждут от советских писателей миллионы строителей коммунизма. Мы живем обгоняя время и показывая собственным примером путь к счастью для всего человечества."

Ей вторит "Учительская газета" от 5 февраля:

"... чтобы все их силы, способности и опыт были отданы на претворение в жизнь наших коммунистических идеалов."

"Литературка" от 7 февраля:

"...двигающих нашу Родину вперед, к счастливому коммунистическому будущему."

Она же 18 февраля:

"Коммунизм представляет собою самое великое движение современности и в наши дни нет другого пути, кроме пути к коммунизму. /.../ Трудящиеся нашей страны успешно построили социализм и завершат построение коммунистического общества."

В номере от 21 февраля:

"Слава Сталину — великому создателю Советской Армии, творцу её побед, ведущему нас к коммунизму!"

В номере от 23 февраля:

"Империалисты и их пособники уже не могут скрыть своего животного страха перед новым миром — миром коммунизма. /.../ Как бы не бесновались наши враги, одно ясно, несомненно и бесспорно: человечеству осталось пройти куда более короткий путь до коммунизма, нежели тот, который оно прошло от февраля 1848 до февраля 1948 года."

В номере от 25 февраля:

"Советские писатели сумеют помочь партии Ленина-Сталина в деле воспитания новых поколений строителей коммунизма, защитников Родины, борцов за подлинную свободу человечества."

В номере от 10 марта:

"...в разрешении величайшей исторической задачи - в построении коммунизма в нашей стране."

В номере от 13 марта:

"Она уверенно ведет советский народ по пути коммунизма."

А вот "Учительская газета" в номере от 13 марта:

"Советская школа, воспитавшая героическое поколение победителей в войне с германским фашизмом, воспитает десятки миллионов юношей и девушек, которые понесут знамя коммунизма вперед, к его окончательной победе."

И "Литературная газета" заверяет 7 апреля:

"Эти книги объединены стремлением авторов правдиво запечатлеть великую животворную силу коммунизма, преобразующего и лицо земли и человеческие души."

10 апреля:

"И себя и других он проверяет по твердым законам морали. Морально же для него то, что необходимо народу, строящему коммунизм."

14 апреля:

"...искать, дерзать, смелее двигаться вперед по единственно обеспечивающей счастье дороге - к коммунизму."

24 апреля:

"Мы должны создать еще более яркие, величественные произведения, в которых отразился бы пафос мирного труда, борьбы за коммунизм".

Опять "Учительская газета": от 29 апреля:

"Страна уверенно и неуклонно идет вперед, набирая все более высокие темпы и убыстряя свое движение к сияющим вершинам коммунизма".

"Литературная" от 1 мая наряду с портретом Сталина в рост:

"Под знаменем Ленина, под водительством Сталина, вперед, к победе коммунизма!"

"Учителька" поясняет 6 мая:

"Дело, за которое борется печать — дело коммунизма, есть родное дело самого народа."

Еще одним портретом Сталина радует "Литературка" 8 мая:

"Сегодня судьбу человечества решает не атомная бомба в руках гориллы, а это планомерное, повседневное, в одно и то же время и праздничное и будничное, трудовое усилие советского человека, направленное к конечной победе — к победе коммунизма^{х)}."

Это соображение о превосходстве коммунизма над атомной войной изложено в передовой статье, а вот мнение рядового писателя в номере от 12 мая:

"И я подумал, что, в сущности, вся деятельность советского финансиста — это борьба за коммунизм."

Не только Стенька Разин, но и Белинский строил коммунизм, обнаруживает академик педнаук в "Учительской газете" от 27 мая:

"Идейное наследство великого русского революционного демократа, философа, критика-публициста В.Г.Белинского вошло в сокровищницу русской и мировой культуры, оно осталось на вооружении советского народа, строящего под руководством партии Ленина-Сталина коммунизм".

3 июня кандидат тех же наук в той же газете разжевывает:

"Его облик, его целеустремленная деятельность, любовь к своему народу, к детям воодушевляют советское учительство на дальнейшие успехи в воспитании молодого поколения строителей коммунизма".

^{х)} Напомню, что тогда у СССР не было атомной бомбы, технологией изготовления которой монопольно владели США, однако ни разу не сделавшие попыток замахнуться ею на СССР за этот период монополии. В те годы советская пропаганда высмеивала "спекулятивные преувеличения" ужасов Хиросимы, считала, что ими капитализм запугивает.

5 июня в "Литературке":

"Советское определение права, как творческого начала в борьбе за новый социалистический строй, идеологически вооружает борцов за коммунизм."

9 июня, она же, но автор — менее внушающий ужас функционер:

"... при коммунизме, который мы строим и построим под водительством Сталина — нашего вождя и учителя."

12 июня:

"...устремлена к коммунизму, как флаг над сельсоветом, как знамя, под которым стоят герои его стихов и поэм."

24 июня "Учительская газета":

"В строительстве новой жизни, в строительстве коммунизма участвуют наши школьники и пионеры..."

30 июня:

"Ускоряя бег времени, шествует наш народ к коммунизму."

Ну, хватит. В июне 1948 года я кончил школу. И хотя газеты не перестали тогда публиковать всю эту ахинею с ее бесподобной стилистикой ("шествует бегом", "зерно стирания грани"), не прекратили еженедельно напоминать, что коммунизм вокруг нас, я прекращаю цитировать, ибо пишу лишь о своих школьных годах. Однако, напомню, что невзирая на то, что в 1956 году Н.С.Хрущев резко прошелся в адрес "некоторых горячих голов" (которые, как мы видели, распоряжались в 1947-48 редакциями "Правды", "Литературной газеты", "Учительской газеты", школьными программами и кое-чем ещё), головной сей жар не выветрился и к 1961, когда они вынудили того же Хрущева провозгласить:

"Советская Родина вступила в период развернутого строительства коммунизма по всему широкому фронту великих работ."

Похоже, что делегаты XXII съезда, включая Черненко и Горбачева, относились к разряду "горячих голов", ибо на нем была ЕДИНОГЛАСНО принята программа КПСС, в которой значилось:

"В итоге второго десятилетия (1971-1980) будет создана материально-техническая база коммунизма, обеспечивающая

изобилие материальных и культурных благ для всего населения; советское общество вплотную подойдет к осуществлению принципа распределения по потребностям, произойдет постепенный переход к единой общенародной собственности. Таким образом, в СССР будет в основном построено коммунистическое общество, /.../

ПАРТИЯ ТОРЖЕСТВЕННО ПРОВОЗГЛАШАЕТ: НЫНЕШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ БУДЕТ ЖИТЬ ПРИ КОММУНИЗМЕ!" -

это заключительные строки программы, принятой осенью 1961, причем все курсивы - из оригинала.

Ну, нынче-то это всё всем до лампочки. И выглядишь каким-то психом, если всерьез вчитываешься в сии строки. К тому же от Солженицына и Шафаревича пошла мода видеть в коммунизме одного только дьявола. А Черненко успел растолковать:

"Опыт показал, что прежде чем решать задачи, связанные непосредственно со строительством коммунизма, необходимо пройти исторически длительный этап развитого социализма, в начале которого находится наша страна."

Произнесено это 25 сентября 1984. Выражение "исторически длительный этап" не совсем понятно, но если принять во внимание, что применительно к советской власти о ее шестидесяти годах нередко пишут:

"За исторически короткий срок советская власть добилась", - то можно обоснованно считать, что "исторически длительный этап" - срок, исчисляемый столетиями. Мы живем в начале тех столетий, по миновании которых можно будет заняться задачами, связанными непосредственно со строительством коммунизма, - вот перевод на календарный язык слов К.У.Черненко, генерального секретаря ЦК КПСС образца 1984 года. Так что в каком-то смысле Амальрик оказался прав: программа правящей партии не досуществовала до 1984 года.

Но аллах или шайтан со всеми ними, разберемся по существу: что было делать глубоко и интенсивно думающему подростку, который в 1947 видел то, до чего Черненко додумался в 1984? Вся жизнь неопровержимо ему показывала, что ни о каком коммунизме в той обстановке речи идти не может. Что ни братских

чувств ("человек человеку друг, товарищ и брат") не видно, ни стирания граней, ни разностороннего развития личности...

На меня в 1947 массированное воздействие оказала коммунистическая пропаганда. Она шла и по домашней линии, где Орест Николаевич проводил со мною политбеседы, велел изучать "Краткий Курс". Она шла и по линии школьной, где Гуревич, Литинский и Борисовский удивлялись моему непониманию азбучных политических вещей и наперебой просвещали меня и опровергали мои заблуждения. Пылал строительством коммунизма и наш симпатичный молодой преподаватель истории, привлекавший к урокам даже полемику Маркса против Гладстона, Дизраэли, Кавеньяка и карлика Тьера. Бубнила о нем сволочь литераторша. С Баскиным мы обменивались взглядами авгуров и догадывались, что дважды два — не шестнадцать, а, наверное, четырнадцать с половиной. С Гарри Рольником — уже в другой школе — мы переставляли флажки на карте Китая и спорили, победят там коммунисты или чанкайшисты. Я придерживался точки зрения, что война — это перманентное имманентное состояние Китая, и ни одна из сторон не победит никогда. Быстрый успех коммунистов привел к торжеству Рольника, и он радостно надеялся, что теперь уже не за горами победа коммунизма во всемирном масштабе; сравните газету от 23 февраля, где вычисляется, что до победы коммунизма во всемирном масштабе осталось куда меньше, чем сотня лет! Такую же надежду высказывал Витя Кудинский — в университете, на втором курсе — когда войска Северной Кореи летом 1950 в несколько дней захватили почти всю территорию Южной Кореи; он предсказывал, что на очереди — Япония, и ликовал по поводу наших успехов. К слову, против всемирной победы коммунизма я ничего не имел, и, окажись я тогда на Западе, я сражался бы и пером и бомбой против прогнившего капитализма. Но жил-то я не на Западе, а в СССР, стоял в очередях в железнодорожных кассах на Московском вокзале Ленинграда, дышал запахом соседей по коммунальным квартирам своих друзей (у меня их было множество) — и вот тут, убей меня бог, не видел и не мог высмотреть хоть малейшего просвета коммунизма.

Так я вступил в глобальное противостояние всей официальной пропаганде, истошно строившей коммунизм. Черненко подтвер-

дил, что я был прав. Тут бы по-настоящему нужно было бы передо мной извиниться, компенсировать ущерб, который она причинила мне своим оголтелым враньем, вынудившей меня на последующие поступки. Но будучи лишенными не только повышенного, но даже элементарного или хотя бы пониженного чувства справедливости, они на это не способны. А у меня, действительно, повышено осознание разумности и бессмысленности. Вот, в прошлом году еду я в Ленинграде в час пик на трамвае. Собственно, не еду еще, а только жду свой номер — сорок девятый — и пытаюсь в него влезть, когда трамвай подошел. А дверь заклинило одной половинкой. Впрочем, из-за ее устройства от этого и вторая половина не до конца раскрывается, но ее силком отжимают, а заклинившую — открыть не удается. Ну, и народ давится, проклиная друг друга, Словом, проявляют чувство локтя. Я влез. Передо мной дилемма: либо сесть на еще остающееся свободное место (ехать далеко), либо посмотреть, что с дверью. Не задумываясь, принимаюсь за дверь. Вижу: одно из сидений свалилось, упало на низ ступенек и зажимает дверь. Поднять его, водворить на место — дело буквально секунд. За эти секунды меня раза три обругали и толкнули — не стой, мол, в дверях, — и поспешили занять свободные места. Никто, конечно, мне спасибо не сказал. И рассказываю я сие не ради того, чтобы читатель в XXI веке сказал мне спасибо: что ему, читателю? ему в этом трамвае ехать не надобно, ему эта дверь до лампочки, горящей синим пламенем совокупно с коммунизмом. Просто я иллюстрирую один из своих идиотских автоматизмов. Иллюстрирую силу великих коммунистических идеалов бескорыстия, вколоченных в меня с детства-юности: — Сам погибай, но товарища выручай! Общественное выше личного! — и тому подобных. Совершенно ясно, что будучи так пропитан этими идеалами и так отчетливо видя всё это вранье, я выпрямился во весь свой духовный рост противостоять им.

Едва было найдено слово: "Ложь", как ложь обнаружилась в дюжине вопросов, о которых прежде я не задумывался; один такой пункт я отмечал в рассказе §5 гл. I, вспоминая про роль Джона Рида в моем духовном развитии. Правда, тогда я позабыл, что прочел его еще до приезда в Ленинград, но такую ошибку

мне не вменит в вину даже наипедантнейший из педантов.

В 1946 вышел в свет полумиллионным тиражом первый том собрания сочинений И.В.Сталина. Благодаря заботам о моем политическом развитии со стороны дяди Ореста, учителя истории и многих других, я его прочел. Прочел и содержащуюся в нем великую работу "Анархизм или социализм". Вряд ли следует задерживаться на смаковании того, КАКИМ образом могли воздействовать на меня цитируемые ниже пассажи:

"Будущее общество — общество социалистическое. Это означает, прежде всего то, что там не будет никаких классов: не будет ни капиталистов, ни пролетариев, — не будет, стало быть, и эксплуатации. Там будут только коллективно работающие труженики. /.../ Там, где нет классов, там, где нет богатых и бедных, — там нет надобности в государстве, там нет надобности в политической власти, которая притесняет бедных и защищает богатых. Стало быть, в социалистическом обществе не будет надобности в существовании политической власти. /.../ Поэтому Энгельс говорил в 1884 году: "Итак, государство существует не извечно. /.../ С исчезновением классов исчезнет неизбежно и государство. Общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где ей будет тогда настоящее место: в музей древностей, рядом с прялкой и с бронзовым топором." (стр. 334-336, курсив Сталина).

"Итак, из рассуждений анархистов следует, что: 1. По мнению социал-демократов, социалистическое общество невозможно, якобы, без правительства, которое в качестве главного хозяина будет нанимать рабочих и обязательно будет иметь "министров /.../ жандармов, шпионов". 2. В социалистическом обществе, по мнению социал-демократов, не будет якобы уничтожено деление на "черную" и "белую" работу, там будет отвергнут принцип: "Каждому по его потребностям" — и будет признаваться другой принцип: "Каждому по его заслугам".

На этих двух пунктах построено "обвинение" анархистов

против социал-демократов".

Имеет ли это "обвинение", выдвигаемое гг. анархистами, какое-либо основание?

Мы утверждаем: всё, что говорят в данном случае анархисты, является либо результатом недомыслия, либо недостойной сплетней.

Вот факты.

Ещё в 1846 году Карл Маркс говорил: "Рабочий класс поставит в ходе развития, на место старого буржуазного общества такую ассоциацию, которая исключает классы и их противоположность; не будет уже никакой собственно политической власти." (стр.358-359).

"То же самое говорят грузинские анархисты: /.../ социал-демократы стоят за диктатуру не для того, чтобы содействовать освобождению пролетариата, но для того, чтоб ... /отточие и курсив Сталина/ "своим господством установить новое рабство".

Таково третье "обвинение" гг. анархистов. /.../ Ясно, что всякий, кто захочет узнать, что такое в представлении марксистов диктатура пролетариата, тот должен ознакомиться с Парижской Комунной. /.../ Если окажется, что Парижская Комунна действительно была диктатурой отдельных лиц над пролетариатом, - тогда долой марксизм, долой диктатуру пролетариата! /.../ Там не было ни одного члена правящих классов. Вспыхнула революция, которая не была представлена ни адвокатом, ни депутатом, ни журналистом, ни генералом. Вместо них рудокон из Крезе, переплетчик, повар и т.д." (стр.368-369).

- А у нас?! - кричал я, читая таковые "опровержения". С прочтения этой работы Сталина возник у меня интерес к анархизму.

В силу своей одаренности я мгновенно и с выводами проанализировал официальное вранье. В силу того, что был безумно молод, не знал многих определяющих факторов, я порой зашел "далеко не туда", но это не важно. Существенно, что я ощутил себя противостоящим всему государству, всей машине. Опять же потребовалось совсем немного времени, чтобы аналитически вывести, что мое индивидуальное противостояние ВСЕМ и ВСЕМУ

фатально обречено на поражение, что я буду раздавлен, что мне не только нельзя надеяться на "победу", но даже самое мое существование истребится в ближайшие же годы, если не месяцы. Будь я более обеспечен, происходи из благополучной семьи, как, скажем, Соломяк, с которым я родился в один день, но который не вписывается в добродетели Каштана, я бы мог попризадуматься: стоит ли связываться? Ничего не достигнешь, а голову свою сложишь ^{х)}. При этом никто ничего о тебе не узнает, ни сказок о нас не расскажут, ни песен о нас не споют ^{хх)}. Зачем же комфорт терять? Но я происходил из семьи, у которой ничего не было. Я не дорожил своим физическим существованием. Вот еще один эпизод, о котором мне и другим напомнила Валя Пунина на одном из вечеров встречи сокурсников, десятилетия спустя по окончании факультета:

— Работали мы тогда с Револютом в школе рабочей молодежи. А там были ученички, дай бог! Например, учителю математики, старику, проломил голову водопроводной трубой за двойку на контрольной. Раз в учительскую вваливается один пьяный ученик с ножом в руках и на завуча: завуч его чем-то "обидел". Мы все притаились, завуч обмер. И вдруг Револют встает, кидается на ученика и мгновенно нож уже в руках Революта. Ну, тут все опомнились, скрутили пьяного. ^{ххх)}

х) Уже в Сыктывкаре я долго работал вместе с В.С. Никифоровым. Будучи моложе меня на девять лет, он, позже, чем я, но прошел в точности тот же путь понимания. Однако, высокая степень обеспеченности его семьи побудила его сделать выбор в сторону удобного существования, и он в студенческие годы сжег все свои ранее написанные свободоискательские эссе.

хх) Тогда мне даже в самых радужных мечтаниях не грезилось, что я смогу написать свои воспоминания об этом периоде и даже прочесть их типографски-изданными. Как не грезилось это и таким примерно моим сверстникам: Айхенвальду, Аксельроду, Аксенову, Астафьеву, Буковскому, Вайлю, Гастеву, Даниэлю, Максиму, Марченко, Морозу, Мюге, Неизвестному, Осипову, Синявскому, Снегиреву и многим другим, не говоря о более старшем поколении. И что Высоцкий, Галич, Коржавин сложат песни о тех временах...

Этакая беззаветность возможна лишь при определенных состояниях психики. И оно у меня было, ибо моя душа всей своей предшествовавшей жизнью была приуготована не дорожить существованием. А коммунистически-революционная пропаганда лишь подливала масла в огонь аскетизма и самопожертвования, как и речи Заратустры несколько лет спустя. Поэтому сознание обреченности не могло меня остановить. Но, конечно, оно не помогало обрести бодрость и здоровый цвет лица. Не случайно Лена Ландсберг в один из моментов раздражения выговаривала мне:

"Не проповедуй мне безверья,
Я как хозяйка в жизнь войду,
А ты останешься за дверью
В своем бездарнейшем бреде."

Я и сам писал и стихи и эссе, в которых скорбел о своем безверии и отчаянии. Типичным для них такой поворот чувств:

"Я болен тем, что смею мыслить по-иному:
Сомненью подвергаю всё с основ,
В святых я вижу лишь глупцов,
Чем с ними молотить солому,
Я лучше быть размолотым готов!" -

как я резюмировал незадолго до суда в 1957.

Но в жизни всякие флуктуации происходят. Бывали и моменты, когда мерещилось, будто есть единомышленники. В один из таких дней, в апреле 1947, мы с Баскиным - возможно, присутствовал Лебедев, - состряпали "программу", попавшую в мою записную книжку:

"I. Свобода слова. II. Свобода партий. III. Свобода убеждений. IV. Изменение системы выборов. V. Отмена воинской повинности. VI. Устранение ВКПб от управления. VII. Децентрализация. VIII. Отмена смертной казни."

Через несколько недель последняя строчка была зачеркнута с надписью " ". Эх, как передать этот восторг шестнадцатилетнего юнца, который видит, что его мечта, казавшаяся ему самому несбыточным мечтанием, вдруг реализовалась в форме

xxx) И тут моя память хранит иные, близкие, но не столь выигранные для меня картины, но я не хочу отвлекаться от темы.

Закона! В такую минуту грезится, что и всё прочее, почти эквивалентное, записанное в других пунктах, завтра-послезавтра тоже воплотится в жизнь. И тогда я искренне любил правительство и товарища Сталина, хотя, впрочем, Указ подписан Шверником-Горкиным, но в те годы я еще не обращал внимания на имена. Через несколько недель эту "программу" обнаружил в моей записной книжке и подверг сокрушительному разносу отец. Он констатировал, что она не содержит ничего, кроме давно опровергнутого наукой (= анархистской наукой) буржуазного демократизма и парламентаризма. /.../ Он "математически" стал доказывать мне, что никакие выборы не могут обеспечить представительство ВСЕГО народа, ибо число парламентариев всегда меньше числа жителей, и потому нелепо задумываться над ФОРМОЙ этого лжепредставительства. Оно всегда останется фальшивью и должно быть отмечено с порога.

Кажется, именно тогда, в Эстонии, он несколько приоткрылся и то ли показал мне, то ли, скорее, только назвал мне некоторые сочинения Кропоткина, названия которых я встречаю на страницах той же записной книжки. С фамилией Кропоткина я познакомился, изучая Сталина. Некоторые из этих книг я позже приобрел в букинистических магазинах, а некоторые у меня изъяли при обыске в 1982. Возможно, В.Р.Шомысова - нач. оперативного отделения КГБ Койи - заинтересовали мои надписи на них: "Книга была неразрезана до такого-то числа 1948" и затем что-то по-французски. Вот уже несколько лет они всё переводят с французского цитату из Прудона...

Завершу этот параграф - петитом - одной достаточно фантастической версией. Начну со странного обстоятельства. В моих записях 1947 находится ряд примерно таких:

"19/1-47 Убито законом - 4	Убито вне закона - 1
23/1-47 Убито законом - 2	Убито вне закона - 1
26/1-47 Убито законом - 1	Убито вне закона - 0
28/1 Закон - 1; бз - § 1.	

Этот ряд завершается возгласом: "Ура, смертную казнь отменили." Дело в том, что в начале 1947 газеты вдруг стали чуть ли не ежедневно публиковать официальные сообщения о грабителях-бандитах, которые убили таких-то там-то, за что приговорены

судом к расстрелу, приговор приведен в исполнение. Совершенно естественно, что, подготавливая отмену смертной казни, заботились об определенной контрастности, так сказать, перед её отменой НАПОМИНАЛИ о ее существовании. Я для таких манипуляторов общественным мнением служил идеальным реципиентом: воспринял угрожающую информацию о смертных казнях, возбудился, возмутился, выработал, следуя Виктору Гюго, требование отмены смертной казни — а тут ее и отменили сверху, так что я бурно приветствовал задуманный правительством поступок. Будем в дальнейшем исходить из этой установленной модели.

Совершенно бесспорно, что в 1947—49 в ЦК или в Политбюро боролись разные точки зрения, в некоторых вопросах диаметрально противоположные. Борьба велась в буквальном смысле не на жизнь, а на смерть, о чем свидетельствуют судьбы Жданова—Вознесенского, а позже Берии—Багирова. Могла иметь место и подготовка реализации тех или иных замыслов. Вот, скажем, в 1950 газеты одновременно носили — на одной и той же странице — фашистского предателя Тито, который в своей мании величия дошел до того, что называет города своим именем, например, Титоград, и тут же помещали корреспонденцию из Сталинграда, подчеркивая это название полиграфически так, чтобы оно бросилось в глаза всякому, читающему про Титоград. Известно, что существовали и такие редакторы, которые, подписывая номер в печать, потирали руки и произносили: "Маразм крепчал". И которые, едва лишь обстоятельства повернулись, стали радостно поливать грязью всё, что они сами делали несколько лет назад (ну, конечно, не акцентируя того обстоятельства, что ОНИ это делали). В числе таковых в первую очередь по праву надо назвать Д.Т.Шепилова, который в эти годы номинально был зам.нач.Управления ЦК по агитации и пропаганде, но фактически был его начальником. и выступал в качестве этом на всевозможных совещаниях, слетах, инструктажах и съезде комсомола.. Как показала дальнейшая история, был он деятелем стопроцентно беспринципным, готовым проводить и линию Сталина, и линию Хрущева, и линию Молотова, коль скоро они оказываются его начальниками, а в конце-концов именно он

явился первым советским инакомыслящим, который опубликовался в "Социалистическом Вестнике" с поношением "советской демократии" — ох, уж был этот генерал-майор кто "демократом" до того, как его разжаловали! Поэтому, когда он давал указания, как возвеличивать в газетах великий подвиг подвига борьбы за борьбу ради борьбы за строительство под водительством, он вполне мог мысленно проклинать всю эту затею и с ненавистью и с хорошим знанием дела интенсивно думать прямо противоположное. Будучи по волевому складу бесспорным ~~прошлым~~ родственником Модеста Матвеевича Камноедова и Лавра Федотовича Бунюкова — работавших на разных этажах НИИЧАВО у Стругацких — Шепилов должен был массированно ~~шумными~~ ИЗЛУЧАТЬ свои мысли-настроения. А на такого реципиента, как я, это излучение должно было наваливаться плотным туманом, подчиняя себе.

Если я прав, то тогда все мое политическое противостояние является лишь побочным результатом деятельности Д.Т.Шепилова. Досадно как-то думать, что и такое могло быть в действительности. При чем тогда здесь моя свободная воля? Гордые замыслы? Геройские поступки? Прием телепатем — и я с потрохами готов... Если в гипотезе насчет воздействия Цветаевой) хоть имя ее лестно с собой ассоциировать, то уж в соседстве с фамилией Шепилова воняет, как из оттаивающего сортира! Не хочу верить, но допускаю. Ноосфера матушка, куда денешься... /.../

Рассказ о том, как я уходил из комсомола.

Усевшись на маленький диванчик в тесной и едва освещенной комнате, я начал рассказывать слушателям, расположившимся против меня на стульях и кресле:

В комсомол я вступил весной 1947, чтобы сделать приятное своей матери, которая уже давно требовала от меня этого. Не то, что бы до 1947 года (я вступил в комсомол, кажется, в феврале, а в мае мне исполнилось 16 лет) я уже ощущал себя противником порядка и имел принципиальные возражения. Как-то я не видел: зачем вступать? Идеюности в этой организации я не ощущал, тарбарить трафаретки мне было не по душе, бороться за дисциплину в школе я не имел ни малейшего желания (я почти

всё время сам имел по поведению четверку, хотя почти по всем предметам у меня были пятерки; кроме того, я считал для себя непременным долгом, сидя на первой парте, безотказно подсказывать всем отвечавшим). С другой стороны, в это время мы с/а матерью жили вдвоем, она болела, а мне было бы приятно ~~радо~~радовать её. Вот я и порадовал — принес комсомольский билет... Кабы знала она, чем обернется такая радость!

Через пару месяцев я прочитал две книги: "10 дней, которые потрясли мир" и "Краткий курс истории ВКПб". Первую я выменял за марки у одного школьного приятеля (я только что перестал увлекаться марками и начал увлекаться книгами; правда, обмен состоялся чуть ли не год назад, но за недосугом я открыл книгу только теперь). Вторую книгу дал мне муж сестры моей матери Орест Николаевич Макаров — убежденный партиец, участник штурма Кронштадта в 1921, работавший по монтажу электропроводки при строительстве Большого Дома, инженер. Что произошло при столкновении этих двух книг в моей голове? Джон Рид — то был с предисловием Ленина (в то время у меня не возникало никаких сомнений в авторитете Ленина), а прославлял Джон Рид — Троцкого. "Краткий курс" восхитил меня своей логичностью, афористичностью, линейностью концепции (видимо, несмотря на то, что в те времена я мечтал стать историком, во мне уже проявился математический стиль мышления). Но так как Троцкий выступал в "Кратком курсе" лютым злодеем, то я сразу воспринял эту логику как последовательное рассуждение с ложными посылками и соответственно отнесся к даваемым выводам. Приложения к действительности я еще не сделал никакого.

Впечатление, произведенное на меня столкновением этих двух книг, вскоре перекрылось потрясением от "Речей бунтовщика" П.А.Кропоткина, купленных мною в букинистическом магазине немного позже. Если столкновение двух первых книг открыло мне глаза на то, что в ОФИЦИАЛЬНОЙ КНИЖКЕ МОЖЕТ БЫТЬ Н А П Е Ч А Т А Н А НЕПРАВДА, то Кропоткин открыл мне глаза на ТО, ЧТО МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ДРУГОЙ СОЦИАЛИЗМ (КОММУНИЗМ), ОТЛИЧНЫЙ ОТ НАШЕГО.

Подобный шок многие, я знаю, испытали в связи с Югославией. Именно поэтому Сталину было жизненно необходимо любой

ценой доказать, что в Югославии не социализм, а фашизм. Ведь допущение того, что существующее — не единственно возможная форма бытия, катастрофично для всякой доктрины, претендующей на "единственно истинное, подлинно научное" объяснение всего сущего. Переворот, произведенный в мировом коммунистическом движении допущением ДВУХ равноправных форм НАСТОЯЩЕГО социализма, можно по праву сравнить лишь с ~~переворотом~~ в геометрии, произведенным открытием НЕЭВКЛИДОВОЙ геометрии. Не случайно Гаусс всю жизнь боялся признаться в этом открытии, Бояи покончил с собой, а Лобачевский остался непризнанным, осмеянный, ошканный Остроградским и Чернышевским. Есть истины, которые трудно вместить человеку, разве что незаметно, с детских лет.

А я воспринял эту истину в таком благодатном возрасте! Для меня не было переворота, было ОТКРОВЕНИЕ. И это было счастье. Пытаясь упорядочить свое прошлое, я думаю, что именно тогда я стал воспринимать большевиков не как вождей и руководителей, а как равных. Ведь И ДРУГИЕ боролись за великое дело социализма. За справедливость. За освобождение труда. За свободу. Боролись столь же равноправными методами, а вовсе не были "недопонимающими" или "агентами буржуазии". С тех пор я перестал пользоваться двумя красками: черное и белое, друзья и враги, наши и чужие — в политической области (для того, чтобы я распространил многоцветность восприятия на область морали, потребовались Шопенгауэр и Ницше пару лет спустя.).

Разумеется, я был юн, а следовательно, мог существовать только в крайностях. Моментально почувствовал себя "анархистом", отверг построенный большевиками социализм (у меня не возникало и тени сомнений, что существовавший при Сталине строй — это и есть точная реализация марксовского социализма), возненавидел Маркса как человека, оклеветавшего Бакунина (ведь, став адептом анархизма, я прочел сразу массу книг о нем и его истории). Что я в то время знал о действительности? Ровным счетом ничего. Тем легче мне было её отвергать. Я читал у Кропоткина критику Маркса, его предостережения: во что выльется государственная форма коммунизма, — и обнаруживал

справедливость его предсказаний (бесценную услугу в этом отношении мне оказал сталинский "Анархизм и социализм"), обращаясь к выхватываемым иллюстративным фактам своей "многолетней" жизни. (перечитал я написанное и подумал, что упростил веки своего развития. Ведь не только Рид, "Краткий курс" и Кропоткин были в моей жизни. К 1947 я прочел уже полностью и Герцена, и Мережковского, и Достоевского, и Ключевского. Так что почва для самостоятельного восприятия была. Впрочем, и Бунина, и Блока, и Пастернака я прочел лишь десять лет спустя! Кстати, как точно сказал Мандельштам: "Разночинцу... достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, — и биография готова". Было главное для самостоятельной оценки действительности: я вырос в сознании того, что история человечества не началась с 1917 и с Маркса...).

В таких чувствах, окончив школу в 1948, я, оставаясь одержимым любовью к истории, считал за благо не идти на исторический факультет, ибо отчетливо осознавал, что "там мне свернут шею не позже, чем через полгода", — как я тогда говорил. Я поступил на матмех ЛГУ. Оснований для такого прогноза у меня было много. Я видел, как отрицательно относилась мать к моим политическим высказываниям. Знал от соседа (чуть моложе меня), что его мать (то ли завуч, то ли завроно Горская) окрестила меня "контрой ходячей". В это время у нас в школе (в 155-й) возник кружок (Володя Баскин, Олег Лебедев) самообразования (неофициальный, конечно), из которого я упомянул лишь, что мы читали книжку Корнея Чуковского (издания времен гражданской войны, от этой книги Чуковский потом отрекивался всю жизнь), в которой развенчивался Некрасов. То обстоятельство, что Некрасов сам травил псами крепостных, как описано в его ~~повести~~ "Псовой охоте", вызвало во мне омерзение к нему и, в свете общего моего отношения, послужило лишь подтверждением: "Ну да, они выбирают в качестве образцов в школьные хрестоматии исключительно таких лицемеров и подлецов, как они сами." Странно, что как раз тогда я страстно любил Маяковского, несмотря на то, что опостылевшая мне официозность преподавала его "как лучшего и талантливейшего" её собствен-

ного певца. Тогда я был готов отрицать Пушкина ради Маяковского (хотя наизусть знал "Онегина").

В 1948 состоялась знаменитая сессия ВАСХНИЛа. К ней я был несколько подготовлен: моя мать преподавала биологию, отец работал в бактериологической лаборатории и, когда я приезжал к нему, рассказывал мне о мутациях. "Литературная газета", кажется, еще с осени 1947 начала травлю Шмальгаузена (а с появлением сенсационной статьи о Гарри Трумене я систематически читал "Литературку"). В порядке "переподготовки учителей" мать обязали изучать стенограмму сессии. Она кряхтела, что "в который раз приходится переучиваться", но добросовестно конспектировала нужные выступления Лысенки с гопкомпанией. Где не понимала, звала меня на помощь. Я же прочел, подчеркнул и отметил закладками всю книгу. Меня возмутила недемократическая атмосфера, заглушающие выкрики с мест, подтасовка присутствующих: противников Лысенки известили о начале сессии за день-два, правительство произвольно назначило академиками ряд сторонников Лысенки с тем, чтобы изменить соотношение голосов. Если прежде ложь я видел в политике и истории, ещё в литературе, то тут ложь перекечевала в науку. Я говорю "ложь", потому что, хотя практически ничего кроме плохо понятых рассказов отца о мутациях (которые, кстати сказать, шли попеременно с рассказами об "открытиях" Бошняна и Лепешинской), не знал о генетике, для меня было довольно, чтобы понять ненаучность и даже антинаучность ПРИЕМОВ господина Лысенки. А так как и Лысенко и его партийно-государственные покровители неразрывно увязывали лысенкизм и самую передовую в мире идеологию, лысенкизм и завоевания советского строя, а противников лысенкизма разоблачали на месте как продавшихся американскому империализму (история с президентом АН Белоруссии Жебраком, заклеянным как антипатриот за помещение статьи в американском журнале, и пьеса Симонова "Чужая тень"), то мое отрицательное отношение к идеологии и строю лишь укреплялось.

Преследования евреев, музыкальный погром, травлю критиков и писателей я не заметил, просто это прошло мимо меня. Поражаюсь — как, но таков факт моей биографии. От борьбы против

космополитизма я воспринял только смешные ее моменты, вроде анекдота "Россия - родина слонов" и "Космополит - космы палит". Конечно, поминутное поминание приоритета стало приторным, но не более.

Зато конфликт с Югославией я воспринял, пожалуй, - если это только возможно - в еще более чудовищных формах, нежели он развивался. Это был кошмар и ужас. Большой ужас, чем последовавшая вскоре война в Корее. (повторяю, речь идет о моих субъективных оценках того времени, меня самого сейчас они порой поражают). Когда в августе 1949 СССР направил Югославии одну за другой две ноты, в одной из которых югославское правительство обзывалось "хвастливым злостным дезертиром" и которая заканчивалась даже без дипломатической формулы вежливости:

"Надеемся, что югославское правительство поймет, что оно не может рассчитывать на любезности и, тем более, на уважение к нему со стороны Советского правительства", ^{х)} - я написал статью "Две ноты", в которую вложил всю мою боль того времени. Эту статью я дал прочесть паре приятелей, из которых один, Володя Баскин, будучи евреем, был, видимо, более озабочен космополитизмом и отнесся к статье безразлично, а другой, Юра Волков, прочтя, старательно сжег ее.

Тогда же я написал статью о "Моих записках" Л. Андреева, которые я интерпретировал как изображение советского режима! То есть, конечно, я знал, рассказ этот был напечатан в 1908, но все-равно... Что-то еще я писал летом-осенью 1949, но забыл, что именно.

К этому же периоду относится еще одно расширение моего кругозора (это как в горах: дойдешь до хребта - и обзорность возрастает в несколько раз). С некоторыми вузовскими приятелями мы затеяли нечто вроде кружка самообразования (не считая того кружка, который у меня был на матмехе по более глубокому изучению математики). Наметили кое-что прочесть за лето, очень доложить друг другу и обменяться мнениями. Хотели читать Библию, но нам ее не дали в Публичной библиотеке (в студенческом зале, который помещался тогда на Садовой). Взамен мы решили читать Шопенгауэра. Какой логикой мы руководствовались при такой замене - не в силах вспомнить. Впрочем, мы наметили многое. Я помню

только две книги, реферировать которые досталось на мою долю: Шопенгауэра и "Древнее общество" Моргана. Вторая не оставила заметных следов в моей судьбе, а "Мир как воля и представление" и сейчас представляется мне произведением, увлечение которым должен пройти всякий, желающий изучать философию.

До той поры, при всем моем критическом отношении к "Краткому Курсу", /я ~~близко~~ безоговорочно принимал его IV главу — изложение диалектического материализма. Ясно, четко, логично, убедительно, верно. Ничто не затуманивало мышления в этой главе.

И вот вдруг я узнаю, что не материя, не сознание, а ВОЛЯ является тем, что лежит в основе мироздания. Короткий, но страстный пассаж обнажал внутреннюю противоречивость материализма, как философского учения, оставляя его в удел неграмотным практикам. Само противопоставление "материя-сознание" оказывалось частным вопросом в сфере представления и никоим образом не могло претендовать на роль коренного вопроса философии. Словом, Шопенгауэр сделал для ~~меня~~ моего философского развития то же, что Креспоткин для политического. И на несколько лет я сделался поклонником ВОЛИ. Правда, должен заметить, что с самого начала я не понял аргументации Шопенгауэра, долженствовавшей показать, что Воля в мире единая, единственная. Мне казалось, что из его учения логически вытекает наличие огромного числа независимых друг от друга волей, сталкивающихся друг с другом. Эту ошибку Шопенгауэра исправили Ницше и экзистенциалисты (о которых я тогда еще не знал).

Впрочем, о Ницше я кое-что слышал. Например, читал Короленко — его рецензию на горьковского "Человека", который, по мнению Короленко, являлся перепевом вредных и уводящих в сторону идей Ницше. Я переписал из собрания сочинений Горького "Человека" себе на листки бумаги, дабы легче было учить его наизусть в трамваях, на лекциях и т.п.

В таких-то чувствах я вышел обязательным участником на демонстрацию ликования 2 октября 1949 года по поводу победы китайских коммунистов во главе с Мао Цзе-дуном над кликой Чан-Кай-ши.

О чем именно я разговаривал с рядом идущими (мы несли какие-то знамена и портреты) — не припомню, как потом ни старался.

Но вдруг слышу от студентки нашей группы Гали Матвиевской:
"Как же ты при твоих взглядах можешь оставаться в комсомоле?!"

Вопрос простой, как колумбово яйцо — недаром она потом стала доктором физматематических наук и членкорром Узбекской АН — но не приходивший до того в голову. Ее негодование было искренним и законным. Что мне ответить — я не знал.

Наутро в понедельник я сказал ей, что подам заявление об уходе из комсомола. Она, по-видимому, восприняла это как должное, во всяком случае, не более важное, чем обсуждение вопроса о каких-то театральных билетах. Но присутствовавший при разговоре мой приятель, староста курса и член партии, фронтовик, Яша Фельдман расценил это иначе. Он сразу пустился уговаривать меня "не делать глупости" и, как минимум, повременить. Как я узнал позже, он сразу же информировал о готовящемся шаге и курсовое, и факультетское бюро комсомола и партии; в соответствии с указаниями оттуда, он удерживал меня "от авантюры". Надо сказать, что никаких угроз ни от него, ни от кого другого в этой связи я не слышал. Разве что подразумевалось без явного упоминания, нечто безлико-ужасное, как описано в конце §2. Но основной упор делался на прекрасную карьеру, которая меня ждет в случае безмятежного окончания Университета и поступления в аспирантуру. Никто не сказал прямо, что исключение из комсомола повлечет исключение из Университета, но, видимо, это подразумевалось так непреложно, что на вопрос Миши Соломяка: "Зачем ты это сделал, Револьт?!" — я ответил, не задумываясь: "Хочу посмотреть, какая формулировка будет в приказе об отчислении меня из Университета."

Кроме описания перспектив, Фельдман говорил со мной и о мотивах моего заявления. Конечно, они порасспросили-таки Матвиевскую о тех высказываниях, которые ее возмутили. Они заверили ее, что и с такими взглядами я могу оставаться в комсомоле, — перевоспитаюсь. Лишь бы она "сняла свое возражение против моего пребывания в комсомоле". Это она и сделала в субботу 8 октября, когда Фельдман привел меня к ней на квартиру. Но тут я не повернулся вспять. Я не говорил о своих взглядах с момента принятия решения. Я берег себя до собрания. На собрании же я хотел высказаться. (У меня было наивное представление, будто

исключить из комсомола можно только на собрании!). Мне нужна была аудитория, которую я хотел заечь, бросив обвинение существующему строю (в отличие от 1956 года, в то время я не проводил в своей душе и, тем более, в высказываниях различия между строем и правительством). И я готовился. Но я боялся, что если я выскажу свои взгляды ДО, то меня просто арестуют, и никто не услышит моего пламенного призыва. Я был готов на арест и смерть. Но не хотелось умирать невыслушанным. И я темнил, когда фельдманы старались исповедать меня. Уходил в заоблачные ~~эмпирей~~ эмпирей, говоря что-то о законе отрицания отрицания, о подчинении меньшинства большинству и т.п. Кроме самой Матвиевской и отчасти Фельдмана, с которым я был близок до того, другие могли, при большом желании, подумать, что тут речь идет просто о переучившемся студенте, которого тяготят муки интеллектуальной честности в связи с сомнениями в понимании одной из черт материалистической диалектики.

И 10 октября явился я — деревянной походкой — в комнату комсомольского бюро (на втором этаже матмеха, где в шестидесятые годы помещалась преподавательская) и вручил секретарю Леше Дадаеву свое заявление:

"В связи с тем, что мои убеждения расходятся с требованиями, предъявляемыми к комсомольцу, прошу Вас не считать меня более комсомольцем, каковым я перестаю себя считать, начиная с сегодняшнего дня. ПИМЕНОВ. 10.10.49."

Мне помнится, что Дадаев — уже давно ждавший меня с заявлением — не задал ни одного вопроса. Не могу припомнить, потребовал ли он у меня билет, отдал ли я его или приберег для собрания. Мне ожидалось, что за вручением заявления последует взрыв чего-то небывалого; его молчание обескуражило меня, я потоптался и неуверенно вышел.

Примерно через неделю со мной первый раз официально беседовали по поводу заявления. Дадаев и два-три комсомольских работника задали вопрос: "С какими именно пунктами Устава ВЛКСМ Вы не согласны?" Устав лежал тут же на столе. Растерявшись, — я-то готовился к бою, а тут такая будничность и

мелочь, — я ткнул почти наугад (они, бесспорно, заметили, что я сам не знаю, что назвать), и выпало: "Демократический централизм". Должен сказать, что я до сих пор не понимаю, что это такое, если уж говорить серьезно.^{х)} Но тогда я провозгласил, что это-то и есть то, из-за чего я ухожу из комсомола. После нескольких пустых фраз разговор кончился.

Через несколько дней Фельдман с Дадаевым свели меня в партбюро. Мне был задан какой-то вопрос, я понес какую-то философскую чушь. Секретарь партбюро С.В. Валландер оборвал было меня: "Ну, это, разумеется, чушь." Импозантный мужчина, до того незнакомый мне, — это был профессор нашего факультета А. Д. Александров, — остановил Валландера широким жестом: "Пусть оратор выскажется!" — дал мне договорить. И начался наш первый с ним диалог (прочие — до самого его конца не вмешивались). Пожалуй, этот разговор имел только два последствия. Во-первых, полюбив лично Александрова (он очень обаятельный человек), я после этого стал специализироваться по геометрии, хотя вроде ощущал больше склонности к алгебре. С тех пор и до сих пор Александров все время выступает то официальным, то неофициальным моим научным шефом. Другое последствие: я стал отождествлять коммунизм с фашизмом. Произошло это так. В процессе разговора, восхваляя существовавшее в нашей стране в то время, Александр Данилыч сослался на мнение ему известного эмигранта-антифашиста:

"Правда, на первый взгляд, мне показалось, что и там, и там одинаково. Та же официальная ложь, тот же нахально-самодовольный тон газет. Но когда приглядишься, то понимаешь, что там все это на пустом месте, не оправдано никакой великой целью. А здесь — все это стало внутренне необходимо для счастья человека и светлого будущего."

До того времени сравнение сталинского строя (который я тогда отождествлял с марксовским коммунизмом) с фашизмом мне ни разу не приходило на ум. Тут же меня как озарило. Медведь тушил пожар.

^{х)} Разве что по анекдоту: "Когда каждый порознь против, а все вместе — за". И, конечно, я прекрасно понимаю, ПОЧЕМУ этот пункт был внесен в устав партии и комсомола.

Признаюсь, меня тогда поражало, почему они тянут и не вызывают "органы". Единственное объяснение, которое я в состоянии дать, основано на более поздней информации. Я не знал тогда — а они очень хорошо знали — что в Ленинграде только что прогремело дело Вознесенского, Кузнецова, Попкова ^{х)}. Тревожная обстановка того времени могла заставить партбюро — не грешившее излишним либерализмом — не раздувать дело. Они могли опасаться, что если об этом случае станет известно наверху, в органах, то по факультету пройдет чистка, перетряхивание, возможно, — аресты (как же, проявили небдительность, допустили такой позорный случай!). Поэтому, возможно, они сами себя позволили (сознательно или бессознательно) убедить, что я — просто переучившийся студент, к тому же способный и русский. Что же касается ГБ, то я никак не могу выбрать одну из двух версий: 1) оно знало с моим заявлением, но по необъяснимому либерализму не хватало меня; 2) оно имело столь скверную сеть осведомителей, что ничего не знало.

Я думал, что все закончилось, но события, оказывается, только начинали разворачиваться.

Через пару дней Фельдман объявил нашей группе, что всех вызывают на очередной (первый) осмотр к невропатологу университетской поликлиники. Пошли почти все, в том числе и я. Несколько человек, в том числе меня и Фельдмана, врач направила в психдиспансер "на консультацию". Осмотр оказался консилиумом, человек в 10-15 врачей, во главе с судебно-медицинским экспертом профессором И.И.Случевским. Осматривали меня, а Фельдман пояснял, что Я Пименов проявляет признаки ненормальности, что подтверждают все студенты его группы. Случевский, как бы шутя, спросил меня: "Что бы Вы сказали, если бы мы предложили Вам некоторое время полечиться у нас в стационаре?" — Я ответил: "Сказал бы, что Фельдман ошибся." Мне было предложено явиться к упомянутому врачу диспансера 12 ноября.

х) Вн. Кстати, процесс Попкова (начало 1950) проходил в Ленинграде как ОТКРЫТЫЙ (впуск был по билетам). Точно также, открытым по билетам, был процесс Абакумова (1954), которому вменялось стряпанье дела Попкова. Возможно, что не все по ленинградскому делу были уже арестованы в октябре 1949, но сняты были все. В частности, ректор Университета слетел уже, мы несколько лет жили под "временно исполняющим обязанности".

Тем временем Дадаев свел знакомство с моей матерью (Фельдман был знаком и ранее). После разговора с матерью (которая даже поэму Асвагоши "Жизнь Будды" считала антисоветчиной и заставляла меня ее выкинуть) у Дадаева сложилось мнение, что всё политически дурное во мне от моего отца (с которым мать развелась три года назад и который жил в Москве). Дадаев отправился на почту, где я получал "до востребования" письма от отца, предъявил свое удостоверение комсомольского босса и потребовал, чтобы ему выдали письмо на мое имя. К его искреннему удивлению и неопишуемому возмущению, ему отказали, объяснив, что без санкции прокурора такое им не разрешают. Немало гневных слов произнес он потом в адрес бюрократизма и формалистики.

10 ноября 1949, к вечеру, я был дома с матерью. Явились Дадаев и Фельдман "пить чай". Мать их радушно угощала. Что-то мне показалось в них подозрительным. Я ушел в свою комнату; они сделали вид, что всё в норме. Мы жили тогда на пятом этаже в служебном пришкольном помещении (мать была завучем): комната, где пили чай, коридор и чуланчик в конце коридора, где располагался я. В этом конце коридора была дверь в здание школы. В противоположном, запиравшемся на крюк, — дверь черного хода, которым почти никогда не пользовались. Я вышел в обычную дверь, захватив с собой некоторые бумаги и дневник, которые, я вдруг почувствовал, необходимо спрятать вне дома. Спускаясь, на третьем-втором этаже я встретил знакомую учительницу Ковалевскую. Она, слащаво улыбаясь, заговорила как с младенцем: "Куда это Волик собрался вечером?" (Раньше мы с ней практически не разговаривали, кроме обмена формул вежливости). — "К приятелю", — буркнул я. — "А зачем это Волие идет к приятелю, когда к нему пришли два приятеля?" Я мгновенно постиг заговор, что меня не выпустят, если не она, то уборщица внизу. Вихрем взлетел по лестнице, не тратя слов, прошмыгнул по коридору, бесшумно снял крюк и скатился по черному ходу. В воротах оглянулся: никто не следит — и на трамвай. Я поехал к седьмому знакомому — Олегу Лебедеву, с которым вместе учился в IX и часть X класса (пока меня не вытурили). Он учился на ме-

хотят посадить в сумасшедший дом, как мне стало теперь ясно, насильно. Его мать не принимала участия в разговоре, лишь усердно пила чаем. Когда я порывался встать и уйти, она мягко удерживала меня угощением. Когда, наконец, вышел в прихожую коммунальной квартиры, там я увидел двух дюжих санитаров в белых халатах. Как им стало известно, где я нахожусь, — до сих пор не знаю. Толстая тетрадь — дневник — покоилась у меня, по обыкновению, (за отсутствием денег на портфель) на животе, засунутой за ремень. Я осторожно высвободил ее и дал соскользнуть в угол дивана. Глазами указал на нее Олегу: (Этот дневник потом сожгла его мать). Санитары схватили меня под руки. Я было вякнул: "Зачем, я и сам пойду", — но как-то интуитивно осознал, что всякие обращения к ним бессмысленны. Тут действовала уже машина.

Эта машина меня обыскала, раздела, выкупала, одела в больничное белье. При этом обнаружила в кармане горьковского "Человека", которого приобщила к истории болезни с пометкой:

"При больном обнаружено воззвание к товарищам, содержащее идеи явно бредевого содержания".

С диагнозом "шизофрения" я был помещен — слава Богу — не в буйное отделение. Мне было не плохо. Почти не "лечили", разве что делали уколы хлористого кальция. Это — великое благо, ибо я видел, как корчились те, кому выпал жребий электро или инсулиновый шок. Публика была почти здоровая: парочка неудавшихся самоубийц, десяток алкоголиков и еще в таком же роде. Затесался было бывший прокурор, который плевал на пол, растирал плевки ногой и кричал: "Я Сталина в порошок сотру!" — но его живехонько препроводили в буйное отделение. Из буйного вечно доносились крики, и мне не раз приходилось наблюдать там сцены, которые тогда расценивал как явное избиение больных. Бумагу мне передали (мать меня навещала, слала передачи), и я принялся описывать быт сумасшедшего дома. Я уже отмечал, как мало знал реальную жизнь, как узок был мой жизненный опыт. Теперь я торопился увидеть и описать все, что было ново для меня. Контрабандой попытался переслать эти записи моему приятелю, Жене Борисовскому, но он сказал, что не получил их.

В конце ноября приехал мой отец, который, представив-

шись как врач (он был ветеринарным врачом), потребовал ознакомиться его с историей болезни. Когда он дошел до "Человека" (он ведь с гимназических лет помнил "Человека" наизусть), ему показалось, что это он сошел с ума.. Он поругался с врачами без ощутимых результатов ^{х)}. В конце декабря мне устроили второй консилиум, на этот раз под руководством профессора Голанд. Она, можно догадаться, признала меня здоровым, ибо назавтра "лечащий врач" объявил мне, что они меня выпишут. Без видимой связи он внушительно посоветовал мне взять назад мое заявление о выходе из комсомола. Я пропустил совет мимо ушей, но проворчал нечто, что можно было принять за согласие на эту тему подумав. Видимо, они не нашли у меня ни следа, за что зацепиться, ибо даже не обязали встать на учет в диспансере. 24 декабря меня выпустили из этой больницы № 2 на углу Мойки и Пряжки ^{хх)}.

х) Добиться освобождения через суд было невозможно: такая процедура не предусмотрена законодательством. Более того, по действовавшему тогда УК: "Помещение в больницу для душевнобольных заведомо здорового человека из корыстных или иных личных целей - влечет за собой лишение свободы на срок до трех лет", ст.148. Следовательно, когда речь шла не о личных целях врачей, а о комсомольских, суд был некомпетентен. В новом же, принятом в 1960 УК, нет и такой куцей статьи. Помещение здорового человека в сумасшедший дом перестало быть уголовно наказуемым деянием с 1 января 1961 года. А показ родственникам "истории болезни" и даже сообщение им диагноза - стало запретным по инструкциям семидесятых годов. Всё сделано, чтобы развязать лапы психиатрам и лишить их всяких остатков самоконтроля.

хх) Хотя Раиса Львовна Голанд меня освободила, она была столь же дремуче невежественна, как все советские психиатры. Стихи Некрасова "Вместо цепей крепостных люди придумали много иных", - она приняла за МОИ собственные, похвалила, мол, пишу красиво. Не невежество браню я здесь, а поражаюсь устройству, когда литературно-невежественные люди обретают право судить о душевном здоровье других...

Я быстренько сдал экзамены; — мне была важна стипендия, и поэтому троек у меня не было. Но пару четверок схватил-таки. Я полагал, что история окончена и я развязался с обременявшим меня комсомольским билетом. Я ошибался.

На каникулы поехал в Москву. Там другая сестра моей матери — Евгения Михайловна Небольсина (муж ее, подполковник пограничных войск НКВД, погиб под Гомелем в январе 1944) ультимативно объявила, что она не позволит мне встречаться с ее детьми, с которыми я был очень дружен — Наташей, Алешей и Сережей — до тех пор, пока у меня в руках не будет комсомольского билета. А их я любил любовью старшего брата. И обещал подумать.

В конце февраля 1950 парень, с которым подружился в сумасшедшем доме (Владимир Вислоцкий покушался на самоубийство из-за несчастной любви, но быстро вылечился, обретя утешение в пухлой санитарке), сообщил мне, что по словам этой санитарки, моя история болезни вновь затребована психбольницей № 2 "из-за того, что ты все еще не взял назад своего заявления".

В начале марта я вручил Дадаеву заявление, что "не могу жить вне рядов комсомола". Мне моментально вернули билет, записав строгий выговор "за нарушение комсомольской дисциплины, выразившимся в факте подачи заявления об уходе из комсомола". Впрочем, сам я ничего не знал о выговоре до 1951, когда мне о нем сообщила тогдашний секретарь нашего курсового бюро ВЛКСМ Тамара Чудакова (теперь — Соломяк), читавшая текст в райкоме комсомола. На запрос КГБ в 1957 году, Василеостровский РК ВЛКСМ ответил, что "никаких бумаг, связанных с выходом Р.И. Пименова из комсомола в 1949 году, в архиве не сохранилось".

Во время заключения в сумасшедшем доме я пережил поистине сумасшедший дни, читая газеты с процессами Райка и Костова (излишне добавлять, что я не верил ни одному газетному слову) и — еще безумнее — слушая запущенный на полную громкость динамик с вакханалией в честь юбилея Сталина. "Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет", — я не забуду, наверное, даже на том свете.

◆ Моё настроение и мои взгляды между октябрём и мартом не изменились. Конечно, на меня повлияли и ультиматум, и преду-

преждения. Но решающая причина моего отступничества: я окончательно понял то, что никакого СОБРАНИЯ не будет. (Сейчас я иногда фантазирую, что было бы, если бы мне ПРЕДОСТАВИЛИ аудиторию. Ну, конечно, тюрьма, неоконченный университет и все прочее мне было бы обеспечено. Но вот захотел ли бы кто из моих товарищей слушать меня? Не была бы моя сумбурная речь просто высмеяна или вообще осталась незамеченной слушателями? Ответа я не знаю. Так ради чего?! Я записал тогда в дневник горькие строки в свой адрес. Поклялся себе ИЗНУТРИ бороться с ними. Назначил себе образцом одного из антикоммунистов-двурушников из пьесы Вирты "Заговор обреченных", которую я посмотрел в те месяцы благодаря заботе обо мне Евгении Михайловны. Следователь, капитан Правдин, не один допрос зачитывал мне эти строки моего дневника, убеждая меня в моем полном моральном ничтожестве.

Начались странные годы. В моей жизни — включая время следствия и годы заключения — не было более тяжелого и мучительного периода, нежели 1950–53^{х)}. Наверное, о таком времени Герцен говорил: "Странное время внешнего рабства и внутреннего освобождения". Я поддерживал самые тесные, дружеские отношения с упомянутым Фельдманом и Юрием Этинным, которого я серьезно подозревал в состоянии на службе в ГВ. Учился неплохо.

х) Писать о них подробно — особая тема. Об этом времени почти ничего не рассказано литературой. Есть, правда, Оруэлл "1984". Есть Н.Я. Хазина-Мандельштам. На ту же полочку надо поставить и "Скутаревского" Л. Леонова. Но все это, либо гиперболы, либо отрывки. Нет еще романа о нормальной жизни на воле в 1930–53 годах. А нужен...

Это время, когда люди, факты, события — ступеньками в мелочь и никли перед Идеями, Принципами, Закономерностями, Непременными Законами Исторического Развития, иллюстрациями которых мы все служили.

Это время, когда заурядными были такие случаи: 14-летняя девушка ходит по городу. За ней увязался 18–20-летний парень. Ходит неотступно часа два. Она сразу и бесповоротно ПОНИМАЕТ, что он — шпион. И хочет вовлечь ее во что-то подрывное, шпионское.

Давал уроки. На заработанные деньги ездил на Кавказ. (Это своя эпопея, о которой здесь говорить не место). Покупал книги. Выучил наизусть "Так говорил Заратустра" (убедившись, что Горький не только подражал Ницше, но еще и в том, что Горький не понял Ницше, переврал его безбожно и низвел до банального уровня). Впрочем, о Ницше нечего говорить: надо либо цитировать Заратустру, либо безмолвствовать. Свое понимание Ницше я изложил в толстой работе "Фридрих Ницше". К столетию со дня рождения" в 1954 году, которая тоже мне инкриминировалась. Здесь будет довольно сказать, что главное, чем мне дорог Заратустра — требованием высокой жертвенности и бескорыстия:

"Я люблю того, кто стыдится, когда игральная кость выпадает ему счастливо, и кто спрашивает тогда — разве я несчастный игрок? — Ибо он хочет своей гибели."

и тем, что он учил "самой юной из добродетелей, имя которой: правдивость". Уже после того, как я выработал свой взгляд на Ницше, я с радостью узнал, что Каляев точно так же смотрел на Ницше, что для него Евангелие и Заратустра представляли единый сплав, требовавший пойти и отдать душу свою за други своя...

Что касается правдивости, то мне всегда — в силу научного склада ума — казалось, что лопату нужно именовать лопатой. Сложившаяся же у нас традиция именовать лопату — в зависимости от требования минуты — то "достижением технического прогресса", то "орудием закабаления рабочего класса" претила мне и заставляла отвергать даже то разумное, что достигалось такой словесной эквилибристикой. Правда, даже такая безудержная девальвация и проституция слова, именовавшаяся "диалектикой", не заставляла меня оттолкнуть диалектику. Диалектика — там, где она не превращается в эристику или в софистику — мне всегда была ценна и близка. У Ленина одна страничка в его "К вопросу о диалектике" сравнима по блеску и глубине с диалектикой Заратустры.

Но постоянным проклятием жег комсомольский билет. В 1951 я воспользовался случаем быть исключенным из почетных рядов. Так как я сдал досрочно вариационное исчисление, то на эти лекции не ходил, используя время для изучения всяких спецкурсов. Но так как общественности факультета было вменено в обязанность бороться за повышение процента посещаемости, то меня вызвали на бюро и потребовали ходить на лекции. Я брызнул. В высоких

терминах меня спросили: буду ли я выполнять постановление комсомольского бюро. Я достал из кармана пятак и произнес: "Если выпадет на орла — буду, а если на решку — нет", — и метнул монету. Выпала решка. Я проговорил: "Не буду". Они обомлели. (так как я человек смиренный и даже робкий, то мне всегда доставляет удовольствие повествовать о своих хулиганствах, а тем более — о таком рассчитанном, как это.). Бюро предложило исключить меня из комсомола курсовому собранию. Сережка Ермаков был назначен обследовать мою идеологию. Он пришел ко мне пить чай. Увидел на полке Ницше. Заговорил о материализме. Я сказал, не мигнув глазом, что "для того, чтобы пройти сквозь запертую дверь, достаточно очень захотеть этого и с этим желанием посмотреть на дверь. Воля рассеет материю". На комсомольском собрании он проиллюстрировал мой идеализм наличием Ницше и рассуждением о двери. Сверху аудитории-амфитеатра Валя Цунина выкрикнула по поводу двери: "А ты не думаешь, Сережа, что он над тобой просто смеялся?" — на что с места же Светлана Богачева (ныне Владимирова, жена А.Д.Александрова) закричала: "А какое он имеет право смеяться над людьми?! Он никого не уважает, он даже с Александром Даниловичем разговаривает, не снимая перчаток!" Ладаев, клеймя меня, обрушился на мое самодовольство: "Посмотрите, как он собой доволен!", и на мои пометки на дававшемся мною Нагорному томике Ленида Андреева. Больше против меня обвинений было не выставлено. Собрание меня исключило, но райком, в неизреченной мудрости своей, изменил исключение, заменив его строгим выговором с предупреждением.

Любопытная история разворачивалась параллельно. Воспользовавшись "приглашением" Александрова: приходите, когда у Вас возникнут сомнения, — сделанным в 1949, — я попросил его уделить мне время для беседы по политическим вопросам. Одинок я был тогда до такой степени, что готов был говорить со всяким, кто согласен слушать, а на такие темы слушать никто не хотел. Кажется, я ему прочел обличительную проповедь против существующего положения вещей. Он старался меня уверить, что многое оправдывается высокими принципами. Я потерял контроль над собой и закричал: "Ну, если Вы рассуждаете так, то правильно, что на вас бросают бомбы в Корее! Так вам и надо!" Так я узнал

о преследовании евреев. Медведь тушил пожар. Как мне рассказывала Тамара Чудакова, после этого разговора Александров тотчас отправился в партбюро и заявил: "Таких людей, как Пименов, надо ссылать на Калыму". Фантастично, что партбюро и тут не сочло нужным "реагировать, как полагается", и при исключении меня из комсомола про этот эпизод сказано не было. Когда меня восстановили в комсомоле, я попросил Тамару известить об этом Александрова, дабы он и далее добивался моего исключения. Она рассказала ему, он махнул рукой и произнес: "Ну, я их предупредил. А как они поступят — им виднее."

Мне опять-таки непонятно: действовало ли партбюро по приговору: "Мы вас уволим не за это"? И что двигало Александрова? Ведь он слыл либералом и вольнодумцем. Например, в те годы позволял себе публично выступать, доказывая, что Вселенная может быть конечной и это не противоречит материализму, что — хотя и совершенно справедливо — звучало в те годы как жуткая крамола, в свете руководящих указаний светоча науки и искусства А.А.Жданова^{х)}. Любопытно, что именно в те годы, будучи в Москве, в киоске на площади Революции я купил три номера журнала "Америка" (№39-41), в которых публиковалась статья Линкольна Барнета "Вселенная и труды доктора Эйнштейна" с предисловием Эйнштейна. Это была первая статья по космологии, которую я прочел. Она определила область моих научных интересов. И два уцелевших номера я до сих пор берегу у себя, как память первой любви. А то, что тогда космология в СССР третировалась как лженаука, что А.Л.Зельманов, начав в 1938 писать статьи по космологии в "Астрономическом журнале", смог завершить свою публикацию только в 1958 (он не сидел!); — ну, что же, всё это лишь укрепляло мои позиции неприятия. (Прокурор Демидов позже пытался это интерпретировать так: "Ведь Вы вступили на преступный путь только потому, что Ваши научные работы не публиковали и не могли опубликовать в Советском Союзе, не так ли?"). И еще. Когда мне в 1953 захотелось прочитать юбилейный Эйнштейновский выпуск (1949) американского физического журнала, мне пришлось принести в библиотеку письменное разрешение от ректора. В журнале же цензурой были вырезаны фразы, имевшие отношение

х) Речь Жданова на обсуждении книги Г.Ф.Александрова "История западно-европейской философии", 1947.

к философии...

Из комсомола меня выгнали, когда я уже смирился с мыслью, что мне из него не выйти до окончания Университета. В феврале 1953 года я был на V курсе. Раз у меня случилось "окно". Бродя по коридору, я наткнулся на Нагорного, который зазвал меня посидеть с ним поболтать во время скучной лекции. Я пошел. Преподаватель Шейн разъяснял аудитории IV курса всемирно-историческое значение решений не менее исторического XIX съезда партии. Я не менее громким голосом, сидя на самом верху амфитеатра, объяснял Нагорному и случившейся рядом Леночке Ландсберг (ныне Бергер) различие между норвежским и датским произношением, иллюстрируя чтением каких-то сказок на этих языках, бывших при мне. Шейн не выдержал и велел мне пересесть на первый ряд, дабы я не мешал. Я пошел пересаживаться, произнося: "Вы же сами себя ставите в смешное положение", — как внезапно поднялась комсомольская активистка IV курса (тогда — приятельница Игоря Заславского) Оля Даугавет и срывающимся от возмущения голосом разъяснила лектору, что нарушитель Пименов — вовсе лицо не с их курса, неизвестна зачем явившееся. Тогда Шейн выгнал меня из аудитории (он через пару недель скончался от рака), а меня — без проведения собрания — выгнали из комсомола. Не помогло и то, что Леночка Ландсберг бегала (не сообщив мне) в деканат и уверяла, будто это она надебоширила, а Пименов не при чем. Тут еще приключилось, что Алешу Небольсина выгнали за кражу из Суворовского училища погранвойск (что в Петергофе), и мне выпало ~~с~~звестить его в Москву. Я пропустил из-за этого сколько-то занятий, что мне тоже занесли в реестр. На следующий день после того, как факультетское бюро приняло свое решение, Александров торжественно изгнал меня из своего семинара.. Я пытался объясниться, что меня выгоняют из комсомола не по политическим причинам, как говорит Александров, а за дебоширство; тому есть такие-то свидетели, члены бюро, сидящие здесь. Они промолчали, а Саша Заморзаев произнес пламенную речь, что "такие, как Пименов, и бывают агентами иностранных разведок" (что, впрочем, тоже не получило развития). Через четыре дня после того, как райком утвердил исключение, ректор Александров подписал приказ о моем отчислении из Универ-

ситета "за крайний индивидуализм, приведший к поступкам, несовместимым со званием советского студента".

Это было 17 апреля 1953.

Я радовался избавлению от билета, но моя мать слегла, узнав, что я лишусь диплома. Я написал в министерство, прося сообщить, на какие основания опирается исключение студента за индивидуализм. Министерство в июле ответило мне, что мое исключение признано правильным. Так как в эти дни газеты пестрели сообщениями о митингах, на которых трудящиеся "с чувством глубокого удовлетворения" узнали о том, что член Политбюро оказался "муссаватистским шпионом" (Берия), то я написал снова:

"С чувством глубокого удовлетворения узнал я о том, что мое исключение признано правильным. Но я хотел бы узнать, на какие положения закона опирается исключение студента за индивидуализм."

Ответ гласил: "Ректор руководствовался Уставом Университета."

Я пошел в библиотеку (университетскую) и попросил дать мне Устав Университета. Библиотекарши вытаращили глаза: "Дореволюционный?" — "Нет, ныне действующий". — "Такого нет". Я прислал в министерство библиотечное требование с отказом и попросил сообщить мне, на какую именно статью Устава опирался ректор. В октябре я получил извещение: "Ректору дано указание восстановить Вас в Университете". Я взял положительную характеристику с места работы (пока я ее без трамвая, я едва не угодил в милицию за то, что на радостях поругался с милиционером, на мой взгляд сбивавшим проезжего), отвез ее Александрову и был приказом от 20 января 1954 восстановлен в ЛГУ, в котором и получил диплом в июне.

На этом мои взаимоотношения с комсомолом заканчиваются.

Библиотечный институт.

1 декабря 1956 в "Ленинградской Правде" появился фельетон "Смертяшкины", — о нездоровых молодежных журналах, в частности — журнале "Ересь" в Библиотечном институте. Через несколько дней Эрнст Орловский сказал, что знает одного из главных отрицательных героев этого фельетона — Бориса Вайля, кото-

рый, как и Эрнст, оказывается, посещает эсперантистскую секцию и является активным эсперантистом.

Отступление о судьбах эсперанто. В начале 30-х годов эсперанто было широко распространено в СССР и рассматривалось чуть ли не как единый язык грядущей мировой революции. Но в 1937 все руководство Общества эсперантистов бесследно исчезло (ведь по самому существу эсперантисты активно переписываются с заграницей), хотя формально Общество не было закрыто. Когда в 1955 новое поколение жаждавшее пропандизировать эсперанто и идо, пришло в канцелярию Совета Министров, то получило там справку, что общество эсперантистов разрешено и не закрывалось, с этой справкой направилось в МВД, получило там печать и штамп общества и начало действовать. Естественно, в силу происхождения этого нового состава общества, оно состояло вначале из более активной части населения, т.е. из инициативных и самостоятельных людей. Например, туда в Ленинграде вошел Орловский и Вайль. Я не входил в общество, но активно переписывался в 1956 с Голландией и Норвегией на эсперанто (эти письма мне никогда никем не инкриминировались, равно как Орловскому и Вайлю.). Когда выяснилось, что в обществе действуют "нездоровые" лица, московский горком партии вызвал к себе представителя общества /председателя/ и предложил ему — как члену партии — на время сдать печать на хранение в горком, объяснив, однако, что общество не закрывается. Тот подчинился партийной дисциплине, и когда я писал эти строки в 1968, печать всё ещё находилась в горкоме. Но всему бывает счастливый конец, и в 1978 Общество эсперантистов было открыто — таки с оповещением в газете.

Еще смешнее обстояло дело с эсперанто в Курске. Вестником эсперанто там явился Борис Вайль из Ленинграда. Он моментально организовал группу энтузиастов, у которых было всё ... кроме текстов на эсперанто. В его отсутствие кружком взялся руководить курский композитор Тасманцев. Но за отсутствием текстов на "родном эсперанто" Тасманцев стал занимать регулярно собирающуюся публику былями о колымских лагерях (1937-47 годы его жизни). Естественно, что после ареста Бориса этих эсперантов разогнали.

Итак, я отправился с Эрнестом в эсперантистскую секцию и

познакомился там с Борисом Вайлем. Это удивительный человек. Достаточно поговорить с ним пару часов и кажется, словно знаком с ним с детских лет, словно это твой старинный друг. В нем огромный запас энергии и жизнерадостности. В свои 17 лет и 8 месяцев, когда он познакомился со мной, он уже имел за плечами "богатый революционный опыт". Еще в 1955 он писал листовки, в которых ругательными словами на грани между "своло-чи" и следующим по степени цензурности поносилась "наша родная советская действительность". Эти листовки составлялись им в родном городе Курске совместно с Костей Даниловым и Невструевым — на два-три года старше него. Сам он про эти свои подвиги мне не рассказывал, я узнал о них из следственного дела.

По приглашению Бориса я пришел в Библиотечный институт, в котором он учился на первом курсе. Он созвал несколько человек, нечто вроде совещания. На совещании я оказался в центре внимания и произнес речь. Борис перед моим приходом сказал своим приятелям, что с ними будет говорить представитель отку-да-то, о чем я, разумеется, не знал. Кроме меня речь произно-сил Кокорев — еще один из тамошних. Она была значительно за-жигательнее моей, о чем я заключаю по реакции одного из присут-ствовавших — Кудрявцева, который провожал меня и выразился в адрес Кокорева: "Вот настоящий вождь!" Еще там был Адамашкий ^{x)}, Бубулис, Греков, Палагин (из Метеорологического); через нес-колько дней появился Вишняков ^{xx)}.

На заседании выявилось два основных вопроса. Первый — о законности. Второй — о денежных средствах.

Я выражал ту точку зрения, что наша деятельность (без дис-куссии принималось всеми, что мы собираемся действовать сов-местно, и действовать "против"; надо было уточнить малость —

x) Игорь Алексеевич Адамашкий, позже писатель и один из соста-вителей самиздатного журнала "Часы", председатель правления в полуразрешенном творческом "Клубе-81", один из авторов сборни-ка "Круг".

xx) Мир тесен. Учителем истории в X классе у Вишнякова (1953-54) был Шейнис. Это выяснилось только во время суда. По сло-вам Шейниса, Вишняков пользовался в школе окверненной репутацией.

против чего именно) не должна быть направлена против социализма, советского строя и т.п. Я даже выразился, что Советская конституция — самая демократичная, надо только ею действительно пользоваться. Наша деятельность, — говорил я, — должна быть направлена в защиту советской конституции и гарантированных ею прав: свободы слова, собраний, союзов. Отстаивать же такие права можно только явочным порядком — беря себе слово свободно, свободно собираясь, создавая союзы и общества.

В подтверждение приводил цитаты из Ленина:

"Свобода печати означает: все мнения ВСЕХ граждан свободно можно оглашать." х)

"Действительной свободой и равенством будет такой порядок, который строят коммунисты, и в котором не будет ... помех тому, чтобы всякий трудящийся (или группа трудящихся любой численности) имел и осуществлял равное право на пользование общественными типографиями и общественной бумагой." хх)

Я приводил свежий пример. Когда за демонстрацию в Познани летом 1956 участников арестовали и затеяли судить, — казалось, что судьба их решена. Но — по польским газетам — в суд поступило свыше 10000 писем граждан, протестующих против ареста и предстоящего суда, и ... обвиняемых выпустили. Всё дело — убеждал я — в наличии внушительной реакции общества. Когда мне возражали, что "эта машина перемелет всех", я отвечал своим излюбленным примером. Если на Невский среди бела дня на мостовую выбежит один человек — горе ему. Владеют мостовой машины. Но если, возвращаясь с салюта, сотни и тысячи прохожих заполняют ту же мостовую и прогулочным шагом бредут по ней, то машины останавливаются и подчиняются прихотям прохожих пешеходов. Достаточно нам перестать считаться с ними, как они начнут считаться с нами, — говорил я.

Конкретно же речь шла, насколько я вспоминаю, об организации писем в защиту повести Лудинцева, на которую как раз в это время обрушилась пресса. Не могу вспомнить, была ли речь

х) В.И. Ленин, сентябрь 1917 (3 изд., т. XXI, 152).

хх) В.И. Ленин, март 1919 (т. XXIV, 10).

о письмах в поддержку Венгрии или же восстание в Венгрии тогда (начало декабря) расценивалось нами уже как безнадежное.

Помню, я ссылался на наличие закона, конкретизирующего процедуру регистрации нового общества; там сказано, что для учредительного собрания надо иметь не менее 50 членов. Так вот, в порядке подготовки нового легального общества нам надо собрать 50 членов, — говорил я.

Я сказал несколько слов в защиту социализма и против капитализма. Я доказывал, что возможна хорошая форма социализма, ссылаясь на пример Югославии (рабочие советы и т.п.). Но на заседании тема эта не получила глубокого развития; подробнее и основательнее этот вопрос обсуждали мы вдвоем с Борисом (не помню, бывал ли при этих разговорах кто-то третий).

Мне пришлось изрядно потрудиться со своими доказательствами, ибо, во-первых, более молодым людям (а они в массе были лет на 5-7 моложе меня) свойственно скорее впадать в крайности и не хочется делать различия между строем и правительством. Во-вторых, даже те, кто согласен теоретически проводить такое различие, в своей речи часто допускают небрежность, говорят "мы" вместо "правительство", пользуются метафорами и гиперболами, которые позволяют понять их так, будто врагом является не правительство, а строй. Но все же мы выяснили, в конце-концов, что никто из нас не собирается реставрировать капитализм и устанавливать монархию Романовых, а боремся мы против тиранических и незаконных, — как мы тогда судили, — действий тогдашнего правительства, перенявшего привычку к такому образу действий от Сталина. Мне помогало, конечно, что в то время они смотрели на меня снизу вверх, а я вещал.

Вторая проблема состояла в том, как размножить различного рода произведения. Тогда, переняв терминологию наших противников, мы сами называли всё, напечатанное нами на машинке, "не-легальной литературой"; сейчас бы мы сказали — "самиздат". Все-возможные способы воспроизведения стоят денег. А так как из 100 000 000 долларов, будто бы ассигнованных ЦРУ и конгрессом США на подрывную работу в СССР, до борцов за политическое освобождение России ни разу не дошло ни цента, и так как нет ныне капиталистов Морозовых, ассигновавших средства большевикам,

то денежная проблема стоит сейчас неизмеримо острее. Где добывать деньги, без которых размножение сведется до уровня кустарщины?

Конечно, выдвигался проект истрясти балерин, писателей и академиков, но за отсутствием контактов он тут же отпал. Было проведено решение о членских взносах, но, кажется, размер еще не был решен окончательно. Потом он spreadился в 25 руб/мес.

Насколько можно понять, в Библиотечном институте взносы собирались добросовестно. Но тут в игру вступил упомянутый Вишняков. Он объяснил мне, как люто он ненавидит "этих коммунистов" за то, что они убили его отца и за многое другое. Поначалу я ничего в нем не заподозрил и, за исключением внешности, он произвел на меня хорошее впечатление. Именно ему было поручено собирать взносы. Мне он не передавал эти взносы ни разу, ни Борису, который был руководителем в Библиотечном. Тем не менее, взносы он собирал и, кажется, регулярно. На следствии выяснилось, что собранные деньги он просто единолично пропивал. Любопытно, что некоторые давали показания, будто он собирал даже больше, чем эти нынешние два с полтиной, ссылаясь на "решение центрального комитета". Не помню, кто из следователей, кажется, капитан Правдин, желая проиллюстрировать мое полное неумение разбираться в людях и выбить меня из равновесия, сказал, что никогда и никто из его родных не был репрессирован. Излишне добавлять, что я ни разу не произносил не только слов "центральный комитет", но даже "комитет". По соображениям моральной ответственности мне казалось, что слово "комитет" можно пускать в обиход только после многолетней деятельности.

Через некоторое время Кокорев исчез, уехав на какую-то практику. Он обещал по возвращении привезти оттуда много денег. С собой он взял у меня "Судьбы русской Революции" и еще кое-что. Больше я ни его, ни "Судеб", ни, конечно, денег не видел. В следственном деле этой статьи нет. Случайно дома у меня затерялись лист-два черновика "Судеб" — два перечеркнутых листа. Эти два листа плюс показания Шейниса и Кокорева, что я им давал "Судьбы", причем оба объяснили, что содержания их совершенно не помнят, а я о содержании также не говорил ничего, послужили все-таки основанием для инкриминирования

мне "Судеб". Забавно, что на попавших в ГБ листах говорится про отрицательное отношение народников к капитализму и следует отрицательная характеристика капитализма.

Для общей характеристики этой группы надо подчеркнуть молодость ее участников. Из них старший был Кокорев: 23-24 года. Прочим — по 17-19 лет. Они кипели жадной непосредственных действий. Сегодня или никогда! А как действовать? Естественно, так как описано в романах о революционерах! Ведь серьезных исторических произведений они не читали — приходилось пользоваться романами. Что делают революционеры в романах? Листовки, митинги, демонстрации, баррикады... Ну, до баррикад ЕЩЕ ПОКА не дошло ("ах, кабы мы были в Венгрии!"), а сейчас что? Они так и тянулись к листовкам, митингам, демонстрациям... Это были не ~~шур~~ теоретики-марксисты!

В ту пору — декабрь 1956 — я был убежденным противником листовок. Дело в том, что листовки, в силу самого жанра, не могут являться ничем, кроме призывов к МАССАМ к непосредственным действиям, кроме грубых нападок на строй. Но массовые действия были тогда нереальными. А на СТРОЙ как раз я не нападал и не собирался нападать. Я уже понимал, что дело в людях. Переворачивая известный тезис Тито из нашумевшей его речи в Пуле, в связи с венгерскими событиями, — "дело не в личности, дело в системе", — я считал, что "системы" создаются людьми, поддерживаются людьми, функционируют через людей, и полагал, что дело не в строе, а в группе людей наверху и в психике приспособляющихся людей внизу.

Что касается митингов и демонстраций, то события разворачивались сами по себе. К тем дням, как ко всяким дням действительно общественного движения, можно применить слова Пастернака:

В те дни — а вы их видели
И помните, какие —
Я был из ряда выделен
Волной самой стихии.

Не встать со всею родиной
Мне было б тяжелее
И с дороге пройденной
Теперь не сожалею.

Или слова поэта вековой давности:

Художник, если он
Волна, а океан — Россия,
Не может быть не потрясен
Когда потрясена стихия.

Художник, если только он
Сын своего народа,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена свобода.

А стихия росла и вела меня за собой, отрывая от академических тезисов, швыряя в бризги, пену и грязь кружков, самоотвержения и подлости экстазом совместных действий, — пока не выбросила под следствие.

События на площади Искусств.

Где-то в начале декабря в Эрмитаже была выставка Пикассо — первая за много десятилетий. Туда набегало много народу ^{х)}. В поисках людей пошел туда и я. Познакомился там с некоторыми очень интересными людьми, рассказывать о которых не стану, во-первых, потому, что все они размещались в описанном уже мною диапазоне: от думающих марксистов до рвущейся к действиям молодежи, будь то из вузов, или из военных училищ, или из рабочих. Не стану говорить и о художественных впечатлениях, ибо это только мои политические мемуары, а в следующих главах, снимая слой за слоем, как луковицу, я дойду и до этого.

Выставка вызвала большой резонанс: как же! впервые для нашего поколения в СССР выставляется нереалистическое искусство! Но обсуждать увиденное в Эрмитаже было негде. Споры завязывались с ходу, но служители их моментально пригашали: не шумите! Всё бурлило, не соглашалось, доказывало, требовало — а высказаться не могло. "Улица корчится, безъязыкая!" Попытались было выпросить у дирекции помещение под дискуссию, но, насколько я понимаю, сотрудники Эрмитажа были более чем напуганы подобного рода просьбами и не задумываясь отказали. И вообще, регламентом Эрмитажа не предусмотрено обсуждение. Висят полотна и висят. Обсуждать их не положено. Положено восторгаться, да внимать экскурсоводу. Тут было еще одно затруднение: из-за наплыва публики и ограниченности времени выставки в залы впускали на малый срок, минут на 15-30, а потом выгоняли, запуская

^{х)} Как это все тогда сливалось, видно хотя бы из того, что в борьбе за выставление Пикассо (в Москве) активную роль играл тогда молодой Илья Глазунов, шедший на острую конфронтацию с властями.

новую партию.

Некоторые, в частности, Зубер и Корбут, договорились с комсомольским бюро или комитетом матмеха, что те предоставят аудиторию (на Васильевском острове) для обсуждения Цикассо. Было повешено объявление в Эрмитаже и на матмехе. Может быть, еще где. Но в последнюю минуту бюро ВЛКСМ запретило проводить такую дискуссию в ЛГУ, объявление было перевешено и сказано, что обсуждение состоится в Публичной библиотеке (юношеский зал на Фонтанке). Насколько я понимаю, объявление ни в малейшей степени не было согласовано с дирекцией Публички и там, разумеется, ничего не получилось. Собравшиеся, потоптавшись у входа, направились толпой на близлежащую площадь Искусств. И там возник импровизированный митинг — первый стихийный за многие годы. Было это 14 декабря. Митинг, в основном, касался искусства. К сожалению, у меня потерялся "отчет" об этом митинге (я сам там не был). На митинге — понравилось — было принято решение повторить его через неделю, 21 декабря, на том же месте, в 19.00.

19 декабря меня информировала Алла, что в горкоме комсомола проводится инструктаж: "Реакционно настроенное студенчество собирается отметить день рождения Сталина демонстрацией на площади Искусств".

А в апреле 1957 между следователем Кривошеиным и обвиняемым Вайлем состоялся следующий разговор по поводу событий на пл. Искусств. Вайль спросил:

— Зачем вы нарушили конституцию, гарантирующую право на собрания, митинги и демонстрации?

— Лучше нарушить конституцию, чем допустить кровопролитие, — изрек старший лейтенант.

— ???

— Ну, да ведь Вы не знаете, что там хотели сделать "маленький Будапешт", — пояснил гебист.

Ну, что они врут, не привыкать. Но я не вижу оснований думать, будто сам Кривошейн в данном случае придумал эту ложь Вайля ради. Он, скорее всего, искренне повторял спущенное ему сверху вранье. Однако, если Кривошейн искренне полагал, будто бы на пл. Искусств подготавливалось нами кровопролитие, то ведь это еще страшнее. Ведь для того, чтобы обеспечивать безо-

пасность государства, надо прежде всего уметь предельно точно **ВИДЕТЬ ФАКТЫ**. Усматривание мнимой опасности — а угроза кровопролития была более, чем мнимая — вредит постановке верного диагноза, а, следовательно, вызывает неверные приемы лечения и может погубить организм. х)

В самом деле, поговорим немножко в кибернетических терминах. Всякое государство, с точки зрения кибернетики, есть система управления. Управляющие принимают решения на основе имеющейся у них информации (истинной или ложной, полной или частичной). Дабы система управления функционировала удовлетворительно (удовлетворяя самих же управляющих), необходимо, чтобы к управляющим поступала неискаженная информация, чтобы обратная связь (Ленин употреблял термин "проверка исполнения") не вносила помех и адекватно отражала происходящее. Для обеспечения механизма обратной связи всякое государство обзаводится тем или иным аппаратом: контрольные органы, ревизии, система осведомителей. Кроме штатных информаторов, во всяком обществе имеются еще внештатные осведомители — писатели, журналисты. Ибо писатель, говоря кибернетическим языком, как раз и занят тем, что по своей инициативе, незапланированно, вводит в управляющие органы информацию о реальном положении вещей, как оно ему видится. Штатные осведомители, как естественно вытекает из общетеоретических соображений, и как показывает практика, очень быстро при сборе и фильтрации наверх информации, начинают руководствоваться посторонними по отношению к истине соображениями: например, соображениями ведомственными. Это приводит к таким искажениям, когда в попытке собраться и обсудить проблемы искусства усматривают демонстрацию ко дню рождения Сталина с попыткой кровопролития. Так ГБ искажало картину реальности даже при смирнейшем и лишенным каких бы то ни было честолюбивых притязаний Серове! Неверная же информация заставляет принимать

х) Куда более глобальная ошибка была совершена позже. Естественно, что пропаганда обвиняла США в подготовке войны против СССР — на то она и пропаганда. Но пока управляли страной люди, помнившие, что "крупный капитал труслив и никогда не начнет войны, предпочтя откупиться любой ценой, ибо для капитала нужен мир" (Маркс), ничего страшного не было в такой пропаганде. Когда же управляющие поверили собственной пропаганде, то с перепугу, они развернули такую военную промышленность, что подорвали всю экономику.

неверные — т.е. вредящие самим же управляющим — решения.

Но вернусь к площади Искусств и к 1956 году.

Помню, я беседовал с Кудровой, стоит ли на этой демонстрации выставлять какие-нибудь конкретные лозунги политического толка. Она ответила отрицательно, и я с ней согласился.

Наступило 21 число. Я весь вечер должен был присутствовать на занятиях в институте. До отъезда на работу, часов около пяти вечера, я забежал посмотреть на место действия. Мне бросилось в глаза, что, вопреки обыкновению, фонари не были зажжены (а это площадь нескольких театров и музеев), а в одном из углов площади — у улицы Ракова — был свален битый кирпич, которого не было накануне. Никакого строительства или ремонта поблизости не было видно. Я оставил там Вербловскую и уехал. Дальнейшее мне известно из рассказов Вербловской, ее подруги Шрифтейлик, Вайля, Зубер и ряда других.

Вербловская и Шрифтейлик циркулировали по окрестным улицам и вокруг скверика, где, собственно, намечалось действие. К 19 часам на каждой скамейке скверика сидели по двое "в штатском". Все дорожки патрулировались людьми в штатском, которые кое у кого спрашивали документы. Вокруг скверика какие-то подразделения милиции проводили строевые занятия, четко печатая шаг. Также циркулировали — "в штатском". Все эти "в штатском" были на одно лицо и сразу выделялись, бросались в глаза подругам. Совсем другие лица — явные студенты — в растерянности останавливались на подступах к площади. Прозвучал голос: "Идемте в Союз Художников". После этого, когда подруги замечали лицо или группу лиц, явно идущих на обсуждение, они приближались и с каменно-заговорщицкими лицами шептали: "Идите в Союз Художников". "Обсуждение состоится там." С такими предупреждениями ходило несколько человек. Народ повсрачивался и уходил. За некоторыми и по Невскому следовали "в штатском", но, по рассказам большинства из них, филеры доходили не далее Дома Книги, а потом возвращались. У некоторых милиция отбирала документы, например, у Саши Гидони, который и был арестован на следующий день.

В Союзе Художников (ЛЮСХ, на улице Герцена) происходили основные события. Там в этот вечер по плану должны были состояться обсуждения осенней выставки и экспонировалась выставка како-

го-то художника в связи с его 90-летием или чем-то в этом роде. Художника и осенней выставки никто из демонстрирующей молодежи не знал, да и знать не хотел. До того, как туда явилась молодежь, зал пустовал, были разве лишь родственники юбиляра, да скучал президиум. И вдруг — валом народ. Председатель расцвел: пользуется—таки искусство популярностью — схотно стал давать слово желающим. Но выступавшие, почему-то, все, словно сговорившись, срасторговали об ином, а не о картинах чествоемого художника и не о выставке. Кажется, единственно, кто упомянул об этих картинах, была студентка Консерватории Красовская, которая в их адрес выразилась: "Изобразить задний двор — это еще не значит совершить революцию в искусстве". Ей картины понадобились, как трамплин, дабы потребовать "свободного искусства" и провозгласить, что "у нас сейчас аракчеевский режим" (сведения разноречивые, сказала ли она "в искусстве" или "в стране"), в связи с тем, что негде высказаться о Пикассо ^х). Разумеется, ей бурно аплодировали. В зале царил ликование.

Кроме выступления Красовской, запомнилось еще: некто лысый бубнил: "Соцреализм — это родная березка на холме". Некий пенсионер, бывший милиционер (профессия известна потому, что председатель каждого оратора спрашивал фамилию и профессию), горячо разъяснял: "Кукуруза вполне может стать достойным объектом искусства. Художники обязаны показать, как она растет в полную мощь в одном колхозе, где ее любят и лелеют, и как она гниет в другом, где не понимают важность разведения кукурузы". Уже не на тему выставки, непосредственно перед Красовской, говорил студент филфака Алексеев (тот, что позже вместе с женой попал на 10 лет за попытку перехода границы в Иран). У него зазвучали слова: "Наше эстетическое отставание", "40 лет рабства мысли", "оторванность от мирового искусства".

^х) Примечание для тонких знатоков. Произнося словосочетание "аракчеевский режим в том-то", человек в пятидесятые годы мог понятия не иметь об А.А.Аракчееве, о его роли в истории России, о методах его начальствования. Он просто пользовался навязшим в ушах оборотом "аракчеевский режим в языкознании", использованным Сталиным, наверное, не без ухмылки в усы.

Насколько я вспоминаю, нашими делались записи хода выступлений, но их дальнейшая судьба мне неизвестна. О какой-то записи мне что-то упоминал капитан Правдин на следствии, но так глухо, что я забыл, была ли она у ГБ или ГБ искало ее.

Юлия Красовская была арестована на следующий день. Её продержали в тюрьме те 12 рабочих дней, в течение которых можно держать в тюрьме человека без предъявления обвинения, а затем выпустили. ^{х)} Говорили, что ей потом пришлось уехать из Ленинграда. Впрочем, позже она стала кандидатом искусствоведения, публиковалась в шестидесятые и семидесятые годы. Насколько мне известно, участие в событиях, связанных с обсуждением Пикассо, никому не инкриминировалось, а наши адвокаты так прямо-таки ухватились за эти события, ища объясняюще-защитающие нас обстоятельства. Гидони был осужден за другое на два года, потому в лагере схватил дополнительный срок, потом стал писать — как рассказывают — доносы на товарищей по заключению, освободился, печатался в советских журналах, эмигрировал, написал там мемуары. Стал кандидатом исторических наук. Был главным свидетелем обвинения на процессе Огурцова-Ватина в ноябре-1967-феврале 1968. И во время следствия по делу Квачевского он давал показания, имевшие целью стягчить судьбу одного из арестованных: Николая Данилосва.

Несколько дней спустя в жилконтору вызвали Гальперина.

Капитан ГБ спросил:

- Вы Гальперин, Борис Исаевич?
- Да, я.
- Вы были на площади Искусств 21 декабря, в пятницу?
- Нет, не был.
- Не были? А поблизости были?
- Был у Малого Оперного театра, не достал билеты и вер-

х) Правдин мне говорил: "С Красовской мы, действительно, ошиблись". Лякин же: "Красовскую мы взяли правильно, а выпустили потому, что она больна костным туберкулезом". И с костным-то туберкулезом она много десятилетий разъезжает по деревням Европейского севера?

нулся х).

— А на площади Искусств?!

— Не был.

— Не были? Ну-ну, омотрите, Борис Николаевич!

На этом профилактическая беседа кончилась.

Из последних сил пытался отстоять принципы демонстраций, мы решили повторить через неделю попытку, но на этот раз собраться перед Зимним Дворцом. Эта попытка кончилась полнейшим фиаско: пришло только несколько человек, приведенных Адамацким. Стремление СТИМУЛИРОВАТЬ события, не назревшие сами по себе, никогда не бывает удачным.

На этом закончился "демонстрационный" опыт.

.....

х) Малый Оперный Театр расположен на площади Искусств, но к нему можно подойти, минуя ее, с канала Грибоедова. Замечу, как трансформируются воспоминания. И.В.Стурцов в 1983 рассказывал мне, как "студенты ЛГУ устроили в ноябре 1956 демонстрацию в защиту Венгрии на Театральной площади". Обменявшись репликами, мы согласились, что он имеет в виду попытку демонстрации на пл. Искусств (площадь театров), но он не согласился, что было это в декабре, настаивая на ноябре. Так он убежденно настаивал, что не будь у меня документов, сдался бы я...